

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



КРЕЙСЕРА



Русско-японская война – Дальний Восток

Валентин Пикуль

Крейсера

«ВЕЧЕ»

1985

Пикуль В. С.

Крейсера / В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1985 — (Русско-японская война – Дальний Восток)

ISBN 978-5-4444-8866-9

Роман «Крейсера» – о мужестве наших моряков в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Он был приурочен автором к трагической годовщине Цусимского сражения. За роман «Крейсера» писатель был удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Горького.

ISBN 978-5-4444-8866-9

© Пикуль В. С., 1985

© ВЕЧЕ, 1985

Содержание

I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Валентин Пикуль

Крейсера

© Пикуль В. С., наследники, 2010

© ООО «Издательство «Вече», 2010

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

*Светлой памяти ВИКТОРА, который мечтал о море,
и море забрало его у нас – НАВСЕГДА.*

Автор

I

Ржавое и уже перетруженное железо рельсов жестко и надсадно скрежетало под колесами сибирского экспресса...

– Не пора ли укладываться? Скоро приедем.

Кипарисов разезд ничего не дал для обозрения, кроме гигантских полениц дров, заготовленных на зиму для жителей близкого города; за станцией Седанка, где уютно раскинулись дачи, за разездом Первая Речка, где квартирует вечно голодная рота саперов и зашибают деньгу бывшие сахалинские каторжане, – за всем этим блаженством, далеко не райским, пассажирский состав, огибая берег Амурского залива, устремлялся дальше – к призрачному городу. Владивосток вырос на широтах Флоренции и Ниццы, но зимою бухта Золотой Рог сковывала в тисках ледостава русские крейсера, которые экономно подогревали свои ненасытные желудки котлы дорогим английским углем кардифом...

Проводники уже обходили вагоны, собирая чаевые:

– Дамы и господа, спешить не стоит, потому как Россия кончается: далее ехать некуда. Рекомендуем гостиницы для приезжих: «Тихий океан», где ресторация с женским хором и тропическим садом, неплоха «Европейская» с цыганским пением, а в номерах Гамартели до утра играют на скрипках румыны...

Ну, кажется, мы приехали куда надо. Даже страшно вылезать из вагона, когда задумаешься, что здесь конец и начало великой России, а дальше океан вздымает серебристые волны. Чутьку задержимся на перроне, чтобы послушать разговоры прадедушек и прабабушек, заранее извинив их наивность:

– О, как мило, что вы нас встретили!

– Ждали, ждали... Что новенького в России?

– Да ничего. Наташа все-таки разводится с Володей.

– Кошмар! Такая была страсть, и вдруг... кто поверит?

– Сейчас, мадам, у Елисеева уже продают котлеты-консервы. Вскроешь банку – все готово. С ума можно сойти, как подумаешь, что мы станем лопать через сто лет.

– Петряев ничего больше не пишет?

– Где там писать! Уже посадили.

– Такой милый человек... за что?

– За политику. За что еще людей сажают?

– Скажите, дает ли теперь концерты Рахманинов?

– Не знаю, душечка. Но мне показывали его жену. Плоская как доска. Нет, не такая жена нужна великому Рахманинову.

– А как столичные газеты? Оживились?

– Да. Цензура везде вычеркивает слово «ананас».

– За что же такие репрессии против ананасов?

– Вы разве не слышали? Наш бедный Коля в тронной речи сказал: «А на нас Господь возложил...» Это же нецензурно!

Кончалось лето 1903 года. Американцы недавно уколошили своего третьего президента, а из окон белградского дворца-конака сербы выкинули короля Обреновича с его дамою сердца – Драгою Машиной. После Гаагских конференций о всеобщем разоружении все страны начали срочно вооружаться. Россия с Японией вежливо раскланивались на дипломатических раутах, созванных по случаю очередного обмена мнениями по корейскому вопросу. Американцы тем временем спешно прокладывали в Сеуле водопровод и канализацию, желая соблазнить бедных корейцев удобством своих роскошных унитазов. Теодор Рузвельт, новый президент США, высказался, что в споре Токио с Петербургом американская сторона будет поддерживать япон-

цев. Английские солдаты готовились штурмовать кручи Тибета, их канонерки сторожили устье Янцзы, из гаваней Вэйхайвэя британский флот вел наблюдение за русской эскадрой в Порт-Артуре...

Пассажиры у вокзала нанимали извозчиков.

– Трудно поверить, что я на краю света. Это и есть Светланская? Значит, ваш Невский проспект... А куда теперь заворачиваем? На Алеутскую... боже, как это все романтично!

Владивосток терялся в гиблых окраинах Гнилого Угла, там же протекала и речка Объяснений, где уединялись влюбленные, чтобы, отмахиваясь от жалящих слепней, объясняться в безумной страсти. Ярко-синие воды Золотого Рога и Босфора покачивали дремлющие крейсера; под их днищами танцевали стаи креветок, сочных и вкусных, проползали на глубине жирные ленивые камбалы, а сытые крабы шевелили громадными клешнями...

Владивосток – край света. Дальше ничего нету.

– И уже не будет, – утверждали обыватели.

Еще никто не помышлял о войне, и шесть нотных магазинов Владивостока имели богатый выбор для любителей музыки. Молоденький мичман Сережа Панафидин купил для своей виолончели «Листок из альбома» Брандукова, на Алеутской в магазине братьев Сенкевичей ему предложили «Souvenir de Spa» знаменитого Франсуа Серве (тоже для виолончели).

– Не пожалеете, – сказали братья, – ведь это лейпцигское издание старой фирмы Брейткопфов... Кстати, господин мичман, вы ведь, кажется, с крейсера «Богатырь»?

– Да, младший штурман. Почти целых полгода шли из Штеттина вокруг «шарика», пока не бросили якоря на рейде в Золотом Роге... стоим как раз напротив Гнилого Угла.

– Неужелиплыли со своей виолончелью?

– Пришлось держать ее в платяном шкафу. Очень боялся не уберечь от сырости, особенно в Индийском океане.

– Вам бы надо бывать в доме доктора Парчевского.

– Простите, не извещен. Кто это?

– Ну как же! Известный доктор. Человек очень богатый. Принимает клиентов под вывеской, на Алеутской. Сам-то Франц Осипович не играет, но у него по субботам собирается квинтет или квартет... Кто там? Почтовый чиновник Гусев – первая скрипка. Полковник Сергеев из интендантского управления, этот больше на альте. Бывает и молодежь.

– Благодарю, это интересно, – отвечал Панафидин.

– Заходите к нам. Премного обяжете... Мы давно ждем новых поступлений из московской фирмы Юргенсонов!

Нет, еще никто не думал о войне. На бригаде крейсеров легкомысленно дурачились офицеры флота, словно одуревшие от вина и свободы, от скуки и бешеных денег. Однажды ночью они перевесили в городе вывески самых ответственных учреждений. В результате утром две роженицы с парохода, оружие благим матом, поступили на дом коменданта Владивостока, а приказы по гарнизону о неукоснительном отдании чести на улицах изучались хохочущими ординаторами в женской клинике...

Николай Карлович Рейценштейн, командир бригады крейсеров, покончил с завтраком.

– Мичман Житецкий, – обратился он к адъютанту, – вы случайно не догадываетесь, кто сотворил все это?

Благообразный Игорь Житецкий сделал умное лицо:

– Доносчиком никогда не был. Но в ту ночь видели едущим в одной коляске мичмана Плазовского с «Рюрика» и мичмана Панафидина с «Богатыря»... С ними была и госпожа Нинина-Петипа, в которой, по слухам, всякие черти водятся.

– Э-э-э, – ответил начальник. – Плазовский получил юридическое образование, и он должен бы знать, чем эта история пахнет. А госпожа Нинина-Петипа... неужели с чертями?

В канцелярии штаба бригады крейсеров зазвонил телефон.

– Николай Карлович, – спрашивал комендант, – вы отыскиали виновных на своей разнужданной бригаде?

– Конечно! Но доносчиком никогда не был. Если вам так уж прижгло, чтобы найти виноватых, считайте, что вывески перебазировал лично я... Можете сажать меня на гауптвахту. Что? Зачем сделано? Просто вспомнил свою безумную мичманскую младость... с чертями! Всего доброго. Честь имею.

Летом 1903 года жители Владивостока последний раз видели из окон своих квартир всю грозную броневую мощь Порт-Артурской эскадры – под флагом вице-адмирала Старка. Эскадру видели мы, русские, но за нею пристально следили японцы, жившие во Владивостоке; через оптические призмы дальномеров ее подвергли изучению офицеры британских крейсеров, поспешивших в Золотой Рог с «визитами вежливости». Наконец адмирал Старк отдал приказ – к походу, и, лениво пошевеливая винтами, словно жирные моржи окоченевшими лапами, тяжкие громады броненосцев России ушли зимовать в Порт-Артур, а на рейде Владивостока, внезапно опустевшем, остались осиротелые крейсера – «Россия» и «Громобой», «Богатырь» и «Рюрик». В отдалении от мыса Эгершельд подымливалась большая транспортная лохань – «Лена», акваторию гавани оживляли привычной суетой номерные миноносцы, слушающие на побегушках, за что их называли не совсем-то уважительно «собачками».

Если матрос с крейсеров провинился, ему угрожали:

– Ты что, на «собачку» захотел? Смотри, там соленой воды нахлебаешься, никакая медицина не откачает...

Но обычно на крейсерах разбирались «келейно», применяя краткий и общедоступный способ. Командир орал с мостика:

– Боцман, ну-ка! Вон тому, рыжему... дай персика.

Следовал замах кулака, затем щелчок зубов: персик съеден. Давненько не было персиков в городской продаже, зато на крейсерах ими просто объедались. Рейценштейн рассуждал:

– Ну а как прикажете иначе? Ведь если эту сволочь не шпиговать, так она совсем взбесится...

Военный министр Куропаткин недавно вернулся из Японии; в своих бодрых отчетах он заверил правительство, что Япония к войне не готова, а русский Дальний Восток превращен в нерушимый Карфаген. Художник Верещагин был тогда во Владивостоке, собираясь навестить Японию. Он никому не давал никаких отчетов, но своей любимой жене в частном порядке сообщал: «По всем отзывам, у Японии и флот, и сухопутные войска очень хороши, так что она, в том нет сомнения, причинит нам немало зла... у них все готово для войны, тогда как у нас ничего готового, и все надобно везти из Петербурга...»

Из Петербурга везли! Да с такой разумной сноровкой, что эшелон боеприпасов для Владивостока пришел в Порт-Артур, и снаряды иного калибра не влезали в пушки; а эшелон для Порт-Артура прибыл во Владивосток, и когда один бронебойный «засобачили» в орудие, то едва выбили его обратно.

– Во, зараза какая! – сатанели матросы. – Ну где же глаза-то были у этих сусликов из Питера?

Эскадра адмирала Старка, вернувшись в лоно Порт-Артура, перешла в «горячее» состояние, приравненное к боевой кампании; при этом портартурцы получали двойное жалованье и лучшее довольствие. Бригаду крейсеров Владивостока оставили в «холодном» положении, что не нравилось их экипажам.

– Чем мы хуже? – говорили на крейсерах.

Был день как день. К осени чуточку похолодало. Сергей Николаевич Панафидин заглянул в «Шато-де-Флер», где по вечерам бушевало кабаре с шансонетками, а с утра кафешантан превращался в унылую харчевню с китайской прислугой в белоснежных фраках. В зале было еще пусто.

– Народы мира! – позвал мичман, щелкая на пальцах.

Моментально выросла фигура официанта Ван Сю, на пуговицах его фрака было вырезано по-французски: *bonjour*.

– Чего капитана хотела? Капитана говори.

– Сообрази сам... на рупь с мелочью. Без вина!

Ван Сю отправился за лососиной в майонезе. В ожидании скромного блюда мичман со вздохом, почти страдальческим, развернул гектографированные лекции по грамматике японского языка. С большим усилием он повторил сакраментальную фразу, над произношением которой настрадался еще вчера:

– Ватаси-ва камэ-но арика-о тадэунэгао-ни вадза-вадзе тансу-но хо-э итта митари... Боже, как это просто по-русски: я делаю вид, будто ишу то место, куда спряталась черепаха.

Он услышал за спиной шорох дамских одежд и, как предупредительный кавалер, даже не обернувшись, заранее привстал со стула. Перед ним стояла местная «дива» – Мария Мариусовна Нинина-Петипа, державшая во Владивостоке театральную антрепризу. Прижившись в этих краях, гордая своей знатной фамилией, она обожала офицеров с крейсеров.

– Сережа, слышали, что стряслось в Чикаго?

– Да нет, мадам. А что?

– Пожар! Страшный пожар... такие жертвы!

– Не удивлен: Чикаго горел уже не раз. Американцы, как и дети, никогда не умели обращаться со спичками.

– Однако, – сказала Мария Мариусовна, – на этот раз дотла сгорел грандиозный театр «Ирокез». Все выходы публика заполнила столь плотно, что люди бежали по головам. Прыгали из окон. Даже с крыши. Теперь разбирают обгорелые трупы.

Петипа добавила, что из Петербурга поступило грозное предупреждение антрепренерам – срочно проверить противопожарные средства, быть бдительными с огнем.

– Теперь я в прострации! Знаете, как бывает на Руси: стоит побережться от пожара, как пожар сразу и начинается. – Она склонилась над столом, разглядывая размытые строчки лекций. – Слушайте, милый Сережа, что за белиберду вы читаете?

– Винительный падеж при имени существительном в японском языке, – сознался мичман, покраснев так, будто ляпнул какую-то глупость. – Прошу, не презирайте меня...

Петипа величаво удалилась, а мичман разделил свое внимание между лососиной и той японской черепахой, которую следовало искать под комодом. Потом отправился на Пушкинскую, где гордо высилось здание Восточного института. Он догадывался, что его ждет: профессор Недошивин давно обеспокоен его отставанием в учебе. В раздевалке мичману встретился сокурсник – молодой иеромонах с крейсера «Рюрик», Алексей Конечников, якут по происхождению, одетый в монашескую рясу.

– Привет! – сказал он дружески. – Сергей Николаевич, я слышал, у вас какие-то нелады с командиром «Богатыря»?

– От кого слышали, отец Алексей?

– От мичмана Плазовского... он ваш кузен?

– Да, кузен. А капитан первого ранга Стемман невзлюбил меня еще с того времени, когда «Богатырь» околачивался в Свюнемюнде. Накануне он велел покидать за борт все гармошки

и балалайки матросов, а тут в панораме его прицела появляюсь и я – с громадным футляром виолончели...

На круглом и плоском лице якута раскосые глаза светились усмешкою человека, знающего себе цену. Он был умен.

– Сознайтесь, вы уже играли у Парчевских?

– Играл. Благопристойная семья. Хороший дом. К субботе я должен блеснуть в Боккерины своим пиццикато.

– Вы поосторожнее с этим квартетом...

– А что?

– В городе ходят слухи, что для доктора Парчевского все эти музыкальные вечера – лишь удобная приманка для улавливания выгодных женихов для его балованной дочери.

– Боюсь, что это сплетни. Вия Францевна – чистое воздушное создание, и она вся светится, как волшебный фонарь.

– Чувствую, вас уже накренило... Красивая?

– Как сказать. Наверное. Если девушка надевает шляпу, не глядя в зеркало, значит, убеждена в своей красоте. И что ей я? Всего лишь мичман. Да тут, во Владивостоке, плюнь хоть в кошку, а попадешь в мичмана... Ну я спешу, – заторопился Панафидин, – профессор Недошивин просил не опаздывать.

– С Богом, – благословил его крейсерский поп...

...Судьба этого якута необычайна. Рожденный в убогом улусе, где табачная жвачка во рту и тепло дымного очага были главными радостями жизни, он стал послушником в Спасо-Якутской обители. Подросток жаждал знаний, а монастырь давал обеспеченный покой, сытную трапезу и доступ к книгам. Самоучкой он освоил английский язык, что казалось тогда невероятным подвигом. Слава о таежном самородке дошла до властей духовных. Конечникова вызвали в консисторию: «С флота поступил запрос – требуются грамотные священники для кораблей со знанием английского языка. Пойдешь?..» Так он, иеромонах, сделался священником крейсера «Рюрик», а теперь в институте поглощал грамматику и фонетику японского языка. В лице якута было что-то неуловимое для европейцев, понятное лишь азиатам. Японский консул Каваками однажды здорово ошибся, приняв его за японца с острова Хоккайдо. Включенный в боевое расписание, отец Алексей («отцу» было тогда 33 года) должен был помогать врачам при операциях, провожать на тот свет умерших или погибших. Он не слишком-то церемонился со своей буйной паствой:

– Вы бы хоть лбы перекрестили! С утра одни матюги слышу...

В марте 1903 года маркиз Ито, министр иностранных дел Японии, произнес речь на собрании грозной партии «Сэйюкай»:

– Великая Сибирская железная дорога, соединяющая Крайний Восток с Крайним Западом, уже почти закончена русскими, и разделявшее их расстояние может быть преодолено теперь в какие-то две недели... Подобное сокращение расстояния требует от японцев самого серьезного внимания. Улучшением путей сообщения Россия производит полную революцию в положении народов (читай: русского и японского). Приведу пример: десять лет назад ни одна западная держава не могла и подумать о посылке на Дальний Восток стотысячной армии... теперь это стало возможно! Буря, – заключил маркиз Ито, – может разразиться в любую минуту. Вот что отнимает у меня покой...

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) возникла из стратегических соображений. КВЖД являлась логическим завершением Великого сибирского пути; это не просто рельсы, протянутые в сторону Порт-Артура и Дальнего, – это скорее центральная платформа

русско-китайского альянса, обогащенная двумя важными факторами. Фактор первый: там, где раньше ядовито полыхали опиономаковые плантации, быстро возник торговый город Харбин. Фактор второй: Владивосток обзавелся Восточным институтом, ставшим научным придатком КВЖД и всей той запутанной политики, которая возникла на отдаленных рубежах нашего государства.

Восточный институт готовил не только переводчиков, он выпускал толковых администраторов, негоциантов, товароведов и даже счетоводов, приспособленных действовать в азиатских условиях. Выбор языков был обширен: китайский, японский, корейский, монгольский, наречья маньчжурские – и обязательное знание английского. Учили крепко: помимо языков, давали политэкономия, историю религий Азии, этнографию, новейшую историю стран Дальнего Востока. Понятно, почему аудитории института заполнили офицеры, армейские и флотские. Если бородатые штабс-капитаны, уже обремененные семьями и невзгодами жизни в захудалых гарнизонах, мечтали о льготах, положенных им как студентам, тешили себя надеждами на прибавку к скудному жалованью, то молодежь стремилась в институт по иным причинам. Подпоручикам и мичманам требовалось заполнить опасный вакуум, который невольно возник в свободное от службы время... Они рассуждали примерно так:

– Не мотать же юность по шантанам! А тут, глядишь, годы пролетят, язык знаешь, диплом в кармане. Как говорят бабки в народе, наука на восту не виснет. В жизни все пригодится...

К числу таких юнцов, мысливших здраво, принадлежал и мичман Панафидин. В кабинете директора он ожидал сегодня хорошего нагоняя, и профессор Недошивин, правда, щадить его не стал. К сожалению, как выяснилось из неприятного разговора, он оказался давним партнером каперанга Стеммана по игре в бридж и потому хорошо разбирался в обстановке на крейсерах.

– Не советую, господин мичман, ссылаться на занятость службою. Вы ведь еще не стали вахтенным начальником «Богатыря», вы – по юности лет – пока числитесь лишь вахтенным офицером. И мне известно, где вы бываете по субботам...

(«Где я бываю по субботам... Неужели известно?»)

– Да, – продолжал Недошивин, – мне ваша история с виолончелью знакома... от Александра Федоровича Стеммана. Если бы вы меньше пикикали в доме Парчевского, у вас больше бы оставалось времени для серьезных занятий в институте.

(«Боже, и Парчевские... все знают», – думал мичман.)

Недошивин встал из-за стола, педантично передвинув от края китайского божка здоровья и житейского благополучия.

– К февральской репетиции вы сдадите все экзамены, чтобы впредь я не ставил вас, офицера, в неловкое положение...

«Репетициями» назывались годовые экзамены; их было три – осенняя, февральская и мартовская. Внизу у института мичмана поджидал рюриковский священник – якут Алексей:

– Ну как? Дым с копотью? Или обошлось?

– Договорились на февраль. Как-нибудь выкручусь.

Конечников предложил взять коляску до пристани, чтобы к четырем часам поспеть на катер с крейсеров. Но Панафидин сказал, что до «Богатыря» доберется вечерним катером:

– У меня еще дело, отец Алексей, в штабе бригады... Даниилу Плазовскому, ему одному, можете по секрету сказать, что я уже подал рапорт о списании меня с «Богатыря».

– О списании... куда же, мичман?

– На ваш «Рюрик»...

Сначала Панафидин повидал в канцелярии штаба своего однокашника по Морскому корпусу – тоже мичмана, Игоря Житецкого, занятого активным подшиванием входящих-исходящих. Каждый человек на Руси – кузнец своего счастья, и каждый кузнец выковывает свое счастье как умеет. Житецкий еще гардемаринком облюбовал свою карьеру в голубых снах – службою на берегу, подальше от кораблей и поближе к начальству, без качки и блевотины по углам, без кошмарных аварий и ночных передряг на мостиках.

– Ну что? – спросил он Панафидина, точным жестом проставляя синий штамп на казенную бумагу: «Секретно».

Мичман завел речь о своем рапорте...

– Знаю, – перебил его Житецкий. – Твой рапорт у Рейценштейна... Значит, решил идти на таран?

– Выхода нет: Стемман меня ест живьем.

С рейда четырежды пробили склянки: смена вахт!

– Не думай, Сережа, что на «Рюрик» тебе будет легче...

Но корпоративная солидарность со времен учебы еще оставалась в силе между бывшими гардемаринами, и потому Житецкий преподал Панафидину краткий урок о том, как правильнее вести себя с Рейценштейном:

– Поменьше лирики. В разговоре следи за его левым глазом. Как только адмирал начнет его задраивать, словно иллюминатор перед штормом, ты сразу снимайся с якоря... Полный ход!

Рейценштейн сидел за столом – лысый, а бородища лопатой, как у Кузьмы Минина. Бахрома эполет, почерневшая от морской сырости, свисала с его дряблых плеч, как подталые сосульки с перегретой солнцем крыши. Дело прошлое, но 6140 рублей жалованья прочно припаяли Николая Карловича к этим проклятым крейсерам, и, если бы не эти проклятые деньги, он давно бы плюнул на всю поганую экзотику дальневосточных окраин...

Разговор он начал сам – с вопроса:

– Так куда мне вас... на «собачку»? Как раз вчера врачи выписали мичману Глазенапу с миноносца № 207 очки такой диоптрии, что он... э-э-э, ни хрена не видит.

Панафидин объяснил причины своей просьбы:

– Мой дед плавал еще под парусами на клипере «Рюрик», мой родитель служил на паровом фрегате «Рюрик». Традиции семьи обязывают меня служить под флагом того корабля, который развеялся и над головами моих пращуров. Не так ли?

Это была лирика, от которой Житецкий предостерегал. Но левый глаз адмирала был широко распылен, внушая доверие.

– Похвально, мичман... э-э-э, даже очень. Но я, – продолжал он, екая дальше, – могу пойти навстречу вашим желаниям лишь в том случае, если вы честно доложите мне о своих несогласиях с Александром Федоровичем Стемманом.

– Он требует, чтобы я оставил виолончель на берегу. Но посудите сами, где же оставить? Не на вокзале же в камере хранения. Он этого не понимает. Между тем инструмент очень ценный. Поверьте, это так... Когда я посещал классы консерватории, профессор Вержбилович обнаружил, что моя виолончель работы Джузеппе Гварнери. Это подтвердил и Брандуков...

Веко на глазу Рейценштейна слабо дрогнуло.

– Стемман прав! Любые дрова на боевом крейсере опасны в пожарном отношении. Накопец, у вас на «Богатыре» полно клопов, которые из вашей виолончели могут устроить для себя великолепный разбойничий притон... Откуда у вас «гварнери», мичман?

– Наследство из семьи адмирала Пещурова.

- Его дочь случайно не жена адмирала Керна?
- Так точно. Софья Алексеевна.
- Э-э-э...

И тут мичман заметил, что Рейценштейн начал задраивать один глаз. Только не левый, а правый (о чем Житецкий не предупредил). Как быть в этом случае? Панафидин решил, что сигнал о близости шторма к нему не относится.

- Почему вы не любите своего командира?
- Александр Федорович сам не любит меня.

– А зачем ему любить офицера с музыкальным образованием? Ему нужна служба! Если каждый мичманец будет выбирать себе корабли по мотивам, далеким от служебного рвения, во что же тогда превратится флот нашего государя императора... А?

Все ясно. В канцелярии Житецкий каллиграфическим почерком перебеливал казенное «отношение» и по одному лишь виду своего однокашника догадался о печальной судьбе его рапорта.

– Ну и что? – сказал он Панафидину. – Ты бы знал, сколько я набегался, пока не заслужил права сидеть за вот этим столом... Хоть бы война поскорее! – произнес Житецкий.

– Какая война? Ты почитай газеты. Сейчас в Петербурге все наши дипломаты вспотели, борясь за мир с Японией.

– Так дипломатам за эту борьбу и платят больше, чем Ивану Поддубному. А нам, офицерам, возражать против войны – все равно что жарить курицу, несущую для нас золотые яйца...

Белые крейсера неясно брезжили в сиреневых сумерках. Корабли, как заядлые сплетники, переговаривались меж собою короткими и долгими проблесками сигнальных прожекторов. Стерильно-праздничная окраска крейсеров заставила Панафидина вспомнить визит англичан – у них крейсера были грязно-серые, даже запущенные, но зато в отдалении они сливались с морским горизонтом. Поговаривали, что адмирал Хэйхатири Того уже начал перекрашивать японские корабли в такой же цвет... Зябко вздрогнув, мичман Панафидин толкнул двери ресторана, который к вечеру наполнялся разгульным шумом. Рослая певичка с припудренным синяком под глазом уже репетировала из ночного репертуара:

Папа любит маму.
Мама любит папу.
Папа любит редерер.
Мама любит гренадер.

Панафидин поманил к себе китайца Ван Сю:

– Рюмку шартреза. Полную. И поскорее.

Выпив ликер, прошел в швейцарскую – к телефону:

– Барышня, пожалуйста, номер триста двадцать восьмой, квартиру доктора Парчевского... статского советника.

– Соединяю, – ответила телефонистка на станции.

Зажмурившись от удовольствия, мичман ясно представлял себе, как сейчас в обширной квартире – одна за другой – разлетаются белые двери комнат, через анфиладу которых спешит на звонок телефона... о н а! Хищные черные драконы на полах желтого японского халата движутся вместе с нею, ожившие, страшные, почти безобразные, и от этого пленительного ужаса о н а еще слаще, еще недоступнее, еще желаннее.

– У аппарата Вия, – прозвучало в трубке телефона.

Много ли слов, но даже от них можно сойти с ума! Потрясенный мичман молчал, и тогда Виечка пококетничала:

– Кто это... Жорж? Ах, ну перестаньте же, наконец. Я узнала: это вы, лейтенант Пелль? Хватит меня разыгрывать. Я догадалась – мичман Игорь Житецкий... вы?

Панафидин повесил трубку на рычаг. Среди множества имен своих поклонников божественная Виечка не назвала только его имени... Ну ладно. В субботу он снова ее увидит. Он покорит ее своим удивительным пиццакато!

Как ни странно, ссор среди офицеров, личных или политических, на кораблях почти не возникало: кают-компания с ее бытом, сложившимся на основе вековых традиций, сама по себе нивелировала расхождения и привычки людей с различными взглядами, чинами и возрастом. Офицеры с высшим положением подвергались всеобщей обструкции, если осмеливались заявлять претензии на свое превосходство перед младшими.

Здесь один старший человек – это старший офицер!

Навещающая на «Рюрике» кузена Даниила Плазовского, бывшая для обмена лекциями у священника «Рюрика», мичман Панафидин давно стал своим человеком в рюриковской кают-компании, которую украшала громадная клетка для птиц, собранных в одну певчую семью. Старшим офицером «Рюрика» был Николай Николаевич Хлодовский. В этом лейтенанте с пушкинскими бакенбардами многое казалось загадочным. Хлодовский не был еще здоров после дуэли из-за одной вдовы... Своему сородичу Панафидин сказал:

– Наверное, он и застрял в чине лейтенанта из-за этой дуэли. Как ты думаешь, Даня?

Плазовский покручивал в пальцах шнурок пенсне.

– Нет, Николай Николаевич... ссыльный! Не понял? Ну есть же люди, которых ссылают на Сахалин или в морозы Якутии, а Хлодовского сослали на крейсера Владивостока.

– Господи, да за что?

– Ему бы следовало сидеть в кабинете Адмиралтейства, размышляя о судьбах флотов, а его держат на «Рюрике», чтобы не мешал завистникам думать не так, как думают они. Это прирожденный теоретик эскадренного боя, который через некоторое количество лет мог бы заменить нам Степана Осиповича Макарова... Ты присмотришься к нему – это трагическая личность!

– Неужели?

– Да-да. Именно трагическая...

Тогда на крейсерах еще не знали, что смолоду Хлодовский был замешан в революционной агитации, его юность была связана дружбой с юностью лейтенанта П. П. Шмидта. Но при этом Николай Николаевич оставался большим поклонником Екатерины II:

– Если бы мне сказали, кого я хочу воскресить из царства мертвых, я бы поднял из гроба Екатерину Великую, при которой русский флот являлся важнейшим инструментом международной политики. Эта дама, да простим ей женские грехи, понимала значение кораблей, как хирург понимает значение скальпеля. К сожалению, сейчас наш флот выродился в погоне за чистотой и казарменной дисциплиной...

Хлодовский доказывал в верхах несовершенство тактики эскадренного боя, сам был автором новой тактики, читал в Петербурге публичные лекции, писал брошюры, нервничал от непонимания, но все... как горохом об стенку! Хлодовского затирали. Кафедра военно-морских наук в академии отвергала его прогнозы. Из теоретика войны на море его умышленно превратили в практика корабельной службы. Панафидину не забылось, как однажды мичман Щепотьев высказался перед собранием офицеров, что «техника ни при чем, а войну выигрывают люди!».

– Простите, – ответил ему Хлодовский, – если у японцев машины крейсеров лучше наших, то мои кочегары, будь они хоть золотыми, все равно не выжмут тех узлов, какие нужны

для победы. В современной войне на море многое зависит именно от брони и калибра, даже от качества топлива...

Конечно, Николай Николаевич давно заметил «богатырского» мичмана, частенько сидевшего за его столом. Однажды он сам остановил Панафидина на палубе «Рюрика», которая всегда поражала своей пустынностью – хоть в футбол тут играй:

– Видите? Вся артиллерия упрятана в бортовых казематах, как во времена Нельсона и Ушакова... Броня слабенькая. Руки в железных перчатках, а тело осталось голое. Вы, – неожиданно спросил Хлодовский, – хотите, я слышал, променять новейший «Богатырь» на наш маститый «Рюрик»?

Панафидин разъяснил отношения со Стемманом.

– Напрасно! – отвечал Хлодовский. – Александр Федорович хороший и знающий офицер. Жаль, что вы с ним не ладите.

Опечаленный, мичман возвращался на свой «Богатырь», но хотел бы остаться на «Рюрике»... Ему взгрустнулось:

– Ах, крейсера, крейсера! И кто вас выдумал?

Посмотришь на них снаружи – все строгое, неприступное, холодное, что-то даже злое. И кажется, что люди там всегда в синяках от постоянных ударов локтями и коленками о железные углы и выступы брони – острые, как лезвия топоров. Но спустись вниз, и тебя ласково охватит уютное тепло человеческого жилья, удивит обилие света, убаюкает почти музыкальное пение моторов и элеваторов, ты научишься засыпать под бойкую стукотню люков и трапов и в тревоге проснешься от внезапной тишины, ибо тишина кораблям несвойственна...

Крейсера переняли свое название от немецкого слова «крейц» (крест); их задача – перекрещивать курсами обширные водные пространства, выслеживая добычу. По сути дела, это – лихие партизаны морской войны, созданные для того, чтобы вносить панику и смятение в глубоких тылах противника. За счет ослабления бортовой брони крейсера России обладали неповторимой для других флотов мира способностью надолго отрываться от своих берегов, не зная усталости, не ведая трагического истощения бункеров, погребов и провизионок...

На рождение «Рюрика» королевская Англия нервно реагировала спешною закладкой своих крейсеров типа «Поверфул», резко усилив их скорость, броневой пояс и артиллерию. Это был своего рода политический демарш Уайтхолла, вызванный усилением России на океанских коммуникациях. Впрочем, английские эксперты вскоре успокоились сами, а заодно они успокоили и своих союзников – японских адмиралов:

– Мы напрасно пороли горячку с закладкою «Поверфула». Достаточно несколько попаданий в батарейную палубу «Рюрика», и смерч разящих осколков выкосит половину оружейной прислуги. Ненадежность искусственной тяги в котлах заставила русских ставить на своих крейсерах по три и даже по четыре дымовые трубы. При хороших попаданиях трубы полетят к чертям, скорость крейсеров резко снизится, они станут беззащитными мишенями...

«Рюрик» родился в 1892 году, и в молодости он считался лучшим крейсером мира. Но годы и бешеная гонка вооружений капиталистических государств взяли свое, в борьбу с новейшими крейсерами новой эпохи он вступал уже ослабленным, устаревшим. Но именно он, когда-то гордый красавец, сохранился для нас, увековеченный даже на страницах новейших энциклопедий. А такая честь оказана не всем кораблям.

Биография «Рюрика» еще не была написана...

Солнечный свет ярко дробился в его иллюминаторах, и, радуясь теплу и свету, птицы оглашали крейсер своим пением.

«Богатырь» обзавелся иной живностью. От немцев в Штеттине ему достались клопы, а в Сингапуре при погрузке австралийских углей крейсер приобрел клубки ядовитых змей, которых кочегары убивали потом в бункерах горячим паром высокого давления.

Среди четырех крейсеров Владивостока «Богатырь» был самым молодым, его борта были обшиты никелевой сталью. 24 орудия и 6 минных аппаратов делали из него могучий кулак, способный разрушить любое сопротивление противника. Каперанг Стемман мог гордиться, что ему доверена такая грозная боевая машина...

– Катер у трапа! – доложили ему.

Описав дугу по вечернему рейду, катер доставил Александра Федоровича под трап левого борта «Рюрика»; при его появлении горнисты, вскинув трубы к темнеющим небесам, исполнили сигнал «захождения», а барабанщики отбили нервную «дробь».

Стеммана приветствовал вахтенный начальник:

– Честь имею, мичман Плазовский! Евгений Александрович у себя в салоне, и он изволит ожидать вас...

Капитан 1-го ранга Трусов, командир «Рюрика», принял командира «Богатыря» по-приятельски; будучи при мундире, он позволил своим ногам отдыхать в домашних шлепанцах.

– Здравствуй, Саня, садись. Может, выпьем?

– Не откажусь... Слушай, Женя, что это за странный у тебя мичман, принявший меня у трапа? На груди у него сиамский орден Белого Слона и какой-то академический значок.

– Это значок Училища правоведения. Плазовскому прочили блистательную карьеру по министерству юстиции, но он экстерном сдал экзамены в Морском корпусе, и вот... Как видишь, даже на сиамского короля он произвел впечатление своим интеллектом и пенсне со шнурком, как у чеховского героя.

На столе появилось виски с японской этикеткой.

– Кстати, Даниил Антонович Плазовский – кузен твоего мичмана Панафидина, который уже был у Рейценштейна с рапортом о списании его с «Богатыря»... ко мне, на «Рюрик»!

Стемману было неприятно это известие:

– Мне он надоел со своей музыкой. Думаю, одного рояля в кают-компании вполне достаточно для исполнения гимна. Наконец, для команды я купил граммофон, не пожалел своих денег. Одна пластинка из американского каучука – полтора рублика...

Трусов всадил штопор в пробку японской бутылки.

– Прости, Саня, – сказал он Стемману. – Но мне кажется, что в основе вашего конфликта заложена сословная рознь. Панафидин из старой дворянской семьи, а ты... кто ты? Сын ветеринара из Кронштадта, который всю жизнь ставил клизмы стареющим болонкам адмиральских вдов. Эти-то вдовы и составили тебе могучую протекцию для поступления в Морской корпус его величества.

Трусов не хотел этого, но невольно задел больную струну в душе Стеммана, который с большим трудом все же проник в элиту флотского общества и теперь ожидал эполеты адмирала.

– Ах, Женя! – поморщился он. – Ну при чем здесь дворяне, при чем тут разночинцы? Мы живем в такое время, когда все сословия империи уравниваются их служебным положением...

Трусов, человек деликатный, не стал хвастать, что его пращур, некий Матвей Трус, занесен в «Бархатную Книгу», и глупо было бы требовать от Стеммана справки из «Готтского Альманаха». Он с улыбкою наклонил бутылку над бокалами:

– Я все-таки позову своего старшего. Николай Николаевич умнее нас с тобою и следит за политикой, аки бабка за капризным дитятей. Пусть он просветит нас, грешных...

Хлодовский явился в салоне. Мимо крейсера проходил номерной миноносец и, разведя крутую волну, сильно раскачал все 12 000 тонн броненосного крейсера «Рюрик».

– Как ваше здоровье? – спросил Стемман. – Как дела?

Хлодовский цепко ставил ноги по шаткой палубе.

– Ничего. Спасибо. Паршиво. Пулю из меня вынули.

– Как же вы, Николай Николаевич, человек передовых взглядов, и вдруг решились драться на дуэли из-за женщины?

– Видите ли, российское законодательство, столь могучее при охране имущества, оказывается бессильно, когда задета честь человека. В таком случае один выход – стать к барьеру... Я согласен, – продолжал Хлодовский, – что указ императора, вменяющий дуэли в обязанности офицерской службы, напоминает фальшивую монету, изготовленную в преступном мире. Но согласитесь, что иногда даже честные люди бывают вынуждены пользоваться фальшивой монетой, коли она попала им в руки.

Затем лейтенант поведал, что журнал «Морской сборник» недавно опубликовал его последнюю работу:

– Но конец ее безжалостно ампутировали. А в конце-то я сказал основное: нельзя держать главные силы Тихого океана в мышеловке Порт-Артура, где адмирал Того может запечатать эскадру Старка... В о т! – И Хлодовский постучал пальцами по японской этикетке. – Новая марка виски называется «Банзай». Не страшно ли, что самураи, всегда очень осторожные, назвали свой алкоголь воплем своего грядущего торжества?

Мимо промчался куда-то еще один миноносец, и Трусов – при качке – успел перехватить падающую бутылку:

– Носятся как угорелые, только уголь пережигают...

Стемман закусил виски арахисовым орешком:

– Ну а Китай? Чего нам ждать от Пекина?

– Ничего не ждать, – отвечал Хлодовский. – Старая карга, императрица Цыси, помалкивает выжидая. Но в будущем, я уверен, Япония повесится на кишках Китая.

– А что в Сеуле? – полюбопытствовал Трусов.

– Американцы изо всех сил стараются выжить из Кореи японцев. Теперь они взялись наладить в Сеуле трамвайное движение. Корейца на трамвай и редискою не заманишь, так эти янки в конце трамвайного маршрута дают пассажирам бесплатные аттракционы с канатными плясунами. А кто проехал маршрут дважды, тому в конце пути показывают фильму из жизни техасских ковбоев...

– Ну и чем вся эта возня кончится?

– Три трамвая корейцы уже сожгли. Не без помощи самураев, которым невыгодно влияние Америки в делах Востока...

Александр Федорович Стемман глянул на часы:

– Ну ладно. Жена-то, наверное, заждалась...

Катер доставил его на городскую пристань, дома его встретила супруга с билетами в театр. Переодеваясь, Стемман украсил себя орденами: румынским – Железного Креста, прусским – Красного Орла, французским – Почетного легиона, японским – Священного Сокровища. Из русских орденов он имел только Станислава и Владимира с мечами. Жена помогла ему вдеть хрустальные запонки в гремящие от крахмала манжеты.

– Знаешь, Любочка, – сказал он ей между прочим, – этот негодяй Панафидин все-таки был у Рейценштейна... наверное, плакался! Случись война, я выкину его виолончель за борт сразу же, и буду прав. По уставу все деревянные вещи на кораблях во время боевых действий должны быть уничтожены...

Стемман ожидал войны с Японией, он даже хотел ее, чтобы оснастить свои плечи эполе-тами контр-адмирала.

Из своей каюты Панафидин выглянул в коридор.

– А что, братцы, нет командира? – спросил вестовых.

– Никак нет, ваше благородие. На берегу ночуют.

– Слава богу! Хоть сыграть можно...

Сергей Николаевич вышел из мелкопоместных дворян, могилы которых затерялись на кладбищах Кронштадта, на бедных погостах тверских деревушек. Со времен Петра I служба на флоте стала для Панафидиных наследственной, редко кто изменял кораблям. В паузах между плаваниями женились, производили потомков, которых и покидали еще в колыбелях – ради новых путешествий. В роду Панафидиных давно выявилась склонность к литературе (но, кажется, никто из них не грешил музыкой). Виолончель работы Джузеппе Гварнери, эта случайная находка в кладовке, поставила мальчика на развилке двух дорог, между двумя бурными стихиями...

Вестовой Гаврюшка постучал в двери каюты:

– Извиняйте. Я вам чайку принес.

– Спасибо, братец. Поставь.

– А можно послушать, как вы играете?

– Конечно. Буду рад. Слушайте...

Сомнения подростка разрешила бабушка, сложившая за божницу две записочки. На одной было начертано «Консерватория», на другой – «Морской корпус». Отмолвившись святым угодникам, бабушка вытащила наугад ту из них, которая и привела ее внука в каюту крейсера «Богатырь». В дверях каюты, нарочно приоткрытых вестовым, стояли безмолвные матросы.

– Нравится? – спросил их Панафидин.

– Очень. А мы вам не мешаем?

– Да нет. Сен-Санс... как не нравится?

Будучи гардемаринном, Панафидин посещал классы при столичной консерватории и на всю жизнь сохранил похвалу профессора Вержбиловича: «Вы сильны в смычке, у вас хорошая фразировка. Нет, конечно, еще виртуозности, но в пассажах вы... ничего, ничего!» Инструмент и правда был по-старинному благороден. Волнистые эфы (прорези FF в теле виолончели) хорошо резонировали звучание. И было даже стыдно держать инструмент в платяном шкафу, будто украл его, а теперь надо прятать... Под музыку вспоминалась дедовская усадьба, старые портреты на стенах, родня и соседи, среди которых еще не угасла память о Пушкине. Иногда мичману было даже неловко: пушкинисты писали о Вульфках, Кернах, Пещуровых, Жандрах и Вельяшевых, а для мичмана это была просто родня, просто соседи, жившие на древней тверской земле...

Матросы дослушали его игру до конца.

– Премного благодарны, – сказал один из них. – Сами знаете, от такой жисти, как наша, иногда и опупнуть можно. А вот как послушаешь музыку, так оно и легче... Спасибо!

Они тихо прикрыли двери, а мичман уложил виолончель в удобное ложе из голубого бархата. Перед сном лениво просмотрел газеты. Будет война или нет? Наверное, все-таки не будет, потому что граф Кейзерлинг, хозяин китобойной флотилии, перенес свою контору из Владивостока в Нагасаки.

– Спать, – сказал себе мичман. – Лучше спать...

Уснул в надеждах, что до субботы ожидать недолго.

(Знаменитый виолончелист Пабло Казальс гастролировал тогда в России; он писал, что молодые русские люди «жаждали трудиться для своего народа, открыть ему новые горизонты и в то же время терзались от сознания собственного бессилия. Многие из них увлекались музы-

кой, искали в ней какой-то компенсации, какого-то утешения. Когда грянула революция 1917 года, я этому нисколько не удивился...».)

Выпускников курса гардемарин, в котором числился и Панафидин, император Николай II проводил унылым напутствием: «Многие из вас уходят с кораблями на Дальний Восток, и один бог знает, что вас ждет там...» Между тем уже в Штеттине поговаривали на верфях, что адмирал Того выбрал для своего флота из английских проектов самые лучшие варианты крейсеров – цельная броня, повышенная скорость, орудийные «спарки» в броневых башнях! Юному мичману тогда еще не хотелось верить, что гордые белые лебеди, плывущие на защиту дальневосточных рубежей отчизны, уступят врагу хоть в самой малости... не верил!

А положение в мире делалось все напряженнее.

Престарелая королева Виктория уже отошла в небытие, но колониальные заветы викторианства оставались нерушимы для ее наследников. На все упреки в ограблении мира у Лондона был готов стереотипный ответ: «Наше присутствие здесь (или там) необходимо, ибо любое постороннее вмешательство затронуло бы сферу интересов великобританской короны...» Заняв Лхасу, они кричали, что спасли Индию от нашествия русских конкистадоров; их канонерки на Янцзы, оказывается, спасали Китай от броненосцев Германии; присутствие в Сиаме англичане оправдывали тем, что бедных сиамцев надо спасти от французских колонизаторов; эскадры Англии привычно уютжили воды Персидского залива, а Уайтхолл изошелся воплями на тему о том, что они ограждают несчастных персов от русской алчности...

Россия еще не знала этих кровотокащих строчек:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки?
Кто своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?..

Но историк Ключевский уже предупреждал студентов:

– Пролог XX века – это пороховой арсенал... Сама Англия воевать с Россией остерегалась. Но, постоянно натравливая Японию на Россию, викторианцы желали укрепить свои позиции в Азии, чтобы легче было им эксплуатировать богатства Китая. При этом кайзеровская Германия исподтишка подталкивала царя-батюшку в Корею и Маньчжурию, ибо в Берлине понимали: ослабив Россию на Востоке, Германия усилит свои позиции в Европе – против Франции и той же Англии...

Примерно такова подоплека войны, которая готовилась.

Наивные русские обыватели еще удивлялись:

– Чего там милые япоши волнуются? Мы, русские, никогда не лезли к ним с пушками, как это делали англичане и американцы. Между нами никогда не было, да и быть не могло, пограничных недоразумений... О чем там думает маркиз Ито?

Люди более осведомленные поговаривали:

– Гагская мирная конференция, созванная по инициативе Петербурга, призвала все государства ко всеобщему разоружению. Мы в этом случае оказались в одиночестве. Ведь скажи дикарю, чтобы оставил свою дубину, он тут же, назло тебе, изготовит таких дубин еще три штуки...

Редьярд Киплинг в свое время писал о японцах: «Очень жаль, что такие маленькие люди обладают не в меру громадной амбицией». Токио возвещало миру, что пребывание русской эскадры в Порт-Артуре угрожает народам всей Азии. При этом самураи деликатно помал-

кивали, что в том же регионе Германия владела фортами Кью-Чжао (Циндао), английский флот громыхал броней крейсеров в Вэйхайвэе, а французы торопливо осваивали Куан-Чжоу. Все равно: виноваты останутся одни русские! Японские амбиции непомерно возросли, когда Англия заключила с Токио договор, направленный против России...

– Россия оказалась в пиковом положении, – рассуждали офицеры на эскадре Старка. – Она и хотела бы выбраться из Маньчжурии, но уже не может, ибо, уйди мы отсюда, завтра же сюда хлынут японские дивизии. Петербург, как проклятый, все время шлет в Токио проекты новых и новых уступок. Но японцы на все предложения к миру стараются не отвечать...

Именно теперь японские газеты (а их было в Японии несметное количество) открыто призывали к войне, именуя русских «давними и злостными врагами народа Ямато». Вот что писалось в них: «Напрасно думать, будто война с Россией будет продолжаться 3–5 лет. Русская армия сама уйдет из Маньчжурии, как только будет разгромлен русский флот».

В эти дни князь Эспер Ухтомский, знаток стран Дальнего Востока, выступал в Петербурге с публичными лекциями:

– Если бы Россия лучше изучила Японию, а Япония лучше знала Россию, если бы русские и японцы встречались не только на базарах Владивостока, а жили бы едиными соседскими интересами, о войне между нашими странами не могло быть и речи. Эта война, если она возникнет, может быть выгодна только миллионерам Англии, Германии и Америки, но она окажется бедственна для наших народов...

Свое выступление князь Ухтомский закончил словами: «Между русскими и японцами возможна самая тесная дружба, доказательством которой – любовь к России простых японцев, которым довелось жить и работать в России!»

Алеутская после Светланской – лучшая улица Владивостока; здесь магазины подержанных вещей, конторы нотариусов и адвокатов, торговля дамскими туалетами и ароматной парфюмерией Востока; здесь снимают квартиры иностранные консулы, падкие до сплетен, и заезжие этуали в гигантских шляпах, весьма падкие до чужих денег. А чуть профланируй подальше, и увидишь в витрине прекрасный гроб, весь в лакомых завитушках, словно праздничный торт с цукатами; при виде этого совершенства прохожий невольно загрустит о блаженстве смертных и скудости живущих. Гроб расположен под вывеской «Одесская контора похоронных процессов». Каким фертом одесситы умудрились монополизировать отправку на тот свет владивостокских покойников – об этом надо спрашивать не здесь, а у пижонов на Дерибасовской...

В богатом доме на Алеутской господя Парчевские снимали второй этаж; при входе висела доска с крупной надписью: «Д-рь Ф. О. Парчевский», ниже мелкими буквами: «Женские болезни, тайна визита сохраняется», а внизу доски совсем мизерно: «Плата по соглашению». Наивный мичман Панафидин не сразу сообразил, что Парчевские разбогатели от тех несчастий, что иногда случаются с женщинами.

Ладно! Он был поглощен предстоящим концертом.

По субботам в городе трудно перехватить свободного извозчика, и потому от самой пристани тащил виолончель на себе. На повороте какой-то юркий старик спросил его:

– Случайно не продаете? Могу и купить.

– Нет, не продаю. Сам играю...

Его утешила лучезарная мысль, что в квартете Боккерини есть одно место, где виолончели отведена заглавная партия, и он надеялся выстрадать на струнах такое пылкое пиццикато, которое не может не оценить прекрасная дочь гинеколога. Может, именно сегодня она ему наконец-то скажет: «Я так благодарна вам. Почему вы приходите только по субботам?..»

Двери мичману открыла она сама, и по торопливости, с какой ее шаги отозвались на его звонок, любой опытный мужчина сразу бы догадался, что Вия кого-то ожидала.

– Ах, это вы... – протянула она разочарованно и тут же, обратясь в глубину квартиры, крикнула: – Папа, это опять к тебе! Тут еще один и г р е ц пришел...

Слово «игрец» повергло мичмана в бездну отчаяния, но он еще не терял надежды на свое пиццикато. А пройти в «абажурную», где собирались любители музыки, предстояло через обширную залу, занимаемую посторонними. Кажется, их влекла сюда не музыка, а лишь насущный вопрос о приданом за Виечкой Парчевской. Появление мичмана с громадным футляром «гварнери» вызвало среди женихов всеобщее оживление.

– Нет уж, – заговорили они, – если бог накажет талантом к музыке, так лучше играть на флейте... она легче!

Страдая от унижения, Сережа протиснулся в «абажурную»:

– Добрый вечер, дамы и господа. Я не опоздал?

Домашне-семейное музицирование было тогда чрезвычайно модным, но сам господин Парчевский, очевидно, выжидал от музыки Вивальди и Боккерини каких-то иных результатов. Панафидин явился в ту минуту, когда почтовый чиновник Гусев, старожил Владивостока, рассказывал каперангу Трусову:

– Здесь, наверное, и помру. Я ведь покинул Петербург так давно, когда водопровод столицы еще не имел фильтров и по трубам весной перекачивали прямо на кухню свежую невскую корюшку. Они в раковину – прыг-прыг, хватай – и на сковородку! А здесь, во Владивостоке, – говорил Гусев, – я вот этими руками пять колодцев откопал. Пять колодцев и две могилы – для своих жен. Вот – последнее утешение в жизни! – И старик ласково гладил обтерханные бока плохонькой скрипочки, купленной по дешевке на базаре...

Полковник Сергеев, служащий в интендантстве, строго поучал Панафидина, чтобы тот не сбился в такте:

– А после моего смычка последует ваше пиццикато...

Среди слушателей была сегодня жена каперанга Трусова, с материнским сожалением глядевшая на Панафидина:

– Смотрю на вас, а думаю о своем сыне. Вы очень похожи. Он тоже мичманом... на броненосцах в Порт-Артуре. Только б не было войны, – договорила женщина со вздохом.

Виолончель ближе всего к звучанию человеческого голоса, и Панафидину казалось, что в музыке он сегодня выразит все, чего не может сказать словами. Мичман отыскал опору для «шпиля» инструмента, разминая руку, прошелся смычком вдоль всего музыкального грифа. Плохо, что Виечка не сидит рядом; из соседних комнат доносилось бодрое здоровое ржанье кавалеров, слышался ее ангельский голосок:

– Нет, это невозможно, господа! Вы меня смутили. Я об этом много слышала, но, клянусь, еще никогда не видела...

(«О господи? Что они ей там показывают?..»)

Исполнители утвердили свои ноты на шатких пультах. Интендант с мрачным видом исполнил бодрое интермеццо, резко оборвав его, и почти злодейски воззрился на старого бедняка Гусева, который подхватил прерванную мелодию, повел ее вдаль за своей горькой судьбиной – душевно, чисто и свято. Концерт начался. Панафидин, весь в предчувствии своего триумфа, шевелил пальцами, примеряя их к сердечному надрыву на струнах.

Тут раздался звонок с лестницы, и было слышно, как простучали каблочки Вии; из прихожей – знакомый голос:

– А чем я виноват, если не мог поймать извозчика?

(«Голос мичмана Житецкого... и он здесь. О боже!»)

Альт интенданта Сергеева уже выводил нежную кантилену. А через двери вмешивался уверенный тенор Житецкого:

– Не для мира нас, господа, готовили! Когда же еще, как не на войне, нам, юным офицерам, делать карьеру?..

Это вывело Трусова из себя, он сделал замечание:

– Житецкий, не ради вас тут собрались... потише!

Чувство злости, рожденной от ревности (и даже зависти), опустошило душу, и Панафидин даже не заметил, когда замолк альт в руках интенданта, а Гусев толкнул его под локоть:

– Где же ваше пиццикато, мичман? Проспали?

Сергеев готов был загрызть его за оплошность:

– Так нельзя относиться к серьезной классике! Если уж мы собираемся здесь раз в неделю, так совсем не для того, чтобы господин мичман мух ноздрями ловил...

Трусов, сложив руки на эфесе сабли, сидел спокойно:

– Ну ладно. Бывает. Можно и повторить... не так ли?

Кое-как доиграли концерт Боккерини, и Франц Осипович Парчевский, явно радуясь паузе, стал хлопать в ладоши:

– Дамы и господа, прошу, прошу, прошу... перекусим, что бог послал. Виечка! – позвал он дочь. – Где же твои кавалеры? Господа, господа, – призывал он, – всех прошу к столу...

Мимо поникшего от стыда Панафидина мичман Игорь Житецкий, явно торжествуя, проводил в гостиную очаровательную Вию, которая даже не глянула в сторону «игреца» из папенькиного квартета. Сергей Николаевич защелкнул замки на футляре и удалился. К счастью, от Державинской улицы как раз заворачивал свободный извозчик, и мичман вскинул на сиденье коляски своего драгоценного «гварнери»:

– Гони! Прямо на пристань. Пятаков не считаем...

На одном из поворотов улиц коляску неожиданно остановил городской при шашке, сделав офицеру «под козырек»:

– Извините, там на Миллионке ваш матрос дерется.

– Почему м о й? Мало ли матросов на свете?

– Крейсерский, ваше благородие. По ленточке видать. Всех там расшиб, теперича его наши лахудры успокаивают...

Панафидину совсем не хотелось ввязываться в эту историю. Тем более что кварталы Миллионки славились тайными притонами с опиокурением, здесь всегда было много всякой швали, включая и беглых каторжников с ножами за голенищами.

– Ладно, – сказал он, велев кучеру заворачивать. – Сейчас усмирю этого дурака, и поедем дальше...

Под жалким керосиновым фонарем стоял бугай-матрос в разодранном бушлате. На каждой его руке, словно на суках могучего дерева, висли сразу по две-три портовые шляхи, и, когда матрос взмахивал ручищами, ноги женщин неслись над землей, будто в бешеной карусели. А вокруг этой «карусели» бегала старая лысая японка, выкрикивая лишь одно непонятное слово:

– Никорай, никорай, никорай, никорай, никорай...

Панафидин неспеша подошел к матросу:

– Ты пьян! Сейчас же ступай на свой корабль.

Гигантской глыбой матрос надвинулся на мичмана:

– А ты, хнида, персика не хошь?

Удар кулаком ослепил Панафидина, который, упав на спину, еще целую сажень проехал на оттопыренных локтях.

– Мерзавец, – сказал он матросу и, подхватив с земли его бескозырку, прочел начертанное золотом: РЮРИКЪ. – Куда теперь от меня денешься, сволочь паршивая? Я твою рожу запомнил...

Только в каюте «Богатыря», успокоившись, мичман сообразил, что японцы не умеют выговаривать букву «л», отчего стало ясно, что под загадочным словом «никорай» скрывается матрос по имени Николай... Ну а фамилию-то узнать несложно.

– Вот побегаёт с тачкой по Сахалину – станет умнее!

Будучи на положении вахтенного офицера, мичман Панафидин числился младшим штурманом крейсера. Сразу же после завтрака Стемман пожелал видеть его в своем роскошном салоне.

– Приятная новость, – сообщил он неожиданно радушно. – Нашу бригаду крейсеров переводят в «горячее» состояние. Отныне мы приравнены к экипажам боевой кампании.

Мичман согласился, что новость приятная:

– Но за прибавкою к жалованью не кроется ли нарастание военной угрозы со стороны Токио?

– Возможно, – кивнул Стемман. – Исходя из этой угрозы, я прошу вас, любезный Сергей Николаевич, сверить таблицы девиации магнитных компасов на мостиках крейсера.

– Будет исполнено, Александр Федорович.

– И еще у меня вопрос...

– Слушаю.

– Откуда у вас такой фонарь под глазом? Только не говорите, что, играя на виолончели, нечаянно заехали смычком в глаз.

Панафидин после истории на Миллионке уже остыл, злоба к матросу прошла, и ему совсем не хотелось предстать перед командиром в образе побитого дурачка. Но Стемман оказался в расспросах настойчив:

– Значит, это был матрос с «Рюрика»?

– Судя по ленточке бескозырки.

– Вы могли бы узнать его среди прочих?

– Наверное. Верзила примечательный...

За обедом в кают-компании «Богатыря» офицеры перебирали городские слухи, то пугавшие, то обнадеживающие.

– Пока японский консул Каваками во Владивостоке улыбается всем, нам войны бояться не стоит...

Итак, они в «кампании»! Корабельные ревизоры (выборные офицеры, ведающие закупкой продовольствия) сразу заключили контракты с магазинами на доставку балыков, мадеры, сардин, мандаринов. Матросы радовались колбасе и сыру, карамели и пряникам. Люди старались не думать, что «горячее» положение угрожает войной. Иные даже небрежно отмахивались:

– Обойдется! Не первый раз... Уж мы-то наслышались всяких угроз, а все кончалось обычной словесной эквилибристикой дипломатов. Как-нибудь и теперь они отбоярятся...

Стемман снова пригласил к себе Панафидина:

– Сейчас отправитесь на крейсер «Рюрик», отыщите того матроса, который оскорбил вас... Евгений Александрович Трусов столь любезен, что согласился сыграть на своем крейсере «большой сбор», дабы весь экипаж был налицо...

Панафидин был ошеломлен таким решением:

– А можно не делать этого? Поверьте, мне, офицеру, не пристала роль полицейского сыщика. Отысканием своего обидчика я буду поставлен в крайне унижительное положение.

Стемман сидел перед рабочим столом, утопая в кресле-вертушке, сверху мичман видел его прилизанную голову, уже плешивую от жизненных неурядиц и трудностей в карьере.

– Вы, мичман, не понимаете, что матрос, ударивший вас, совершил преступление, которое никак нельзя оставить без наказания. Подобные афронты нижним чинам прощать нельзя...

Пришлось подчиниться приказу, а на «Рюрике» Панафидина встретил сумрачный старший офицер Хлодовский.

– Да, я все уже знаю, – было им сказано. – Сыграем «большой сбор», чтобы никто не увильнул от всеобщего построения.

Пробили колокола громкого боя! «Рюрик», казалось, вздрогнул в едином откровении железных дверей и люков, затрещали трапы под чечеткою бегущих матросских ног. Потом затихла мать-в-перемать боцманматов, и наступила противная, гнетущая тишина... Хлодовский расправил бакенбарды:

– Команда в большом, сборе! Прошу наверх...

С океана рвало знобящим ветром, который лихо закручивал ленты бескозырок вокруг крепких шей матросов. Чеканные ряды застыли вдоль бортов, внешне, казалось, безликие, как монеты единого достоинства, на самом же деле все разные – женатые и холостые, робкие и бесстрашные, пьющие и непьющие, скромные и нахальные, хорошие и плохие, но все одинаково сжатые в единый кулак единого организма, название которому, гордое и прекрасное, – э к и п а ж... Явно стыдясь, Панафидин обошел шеренги левого борта, но там искомого матроса не обнаружил. Он сразу узнал его в шеренгах правого борта, где тот стоял в ряду комендоров второго пушечного каземата.

– Эй! Ты! Сволочь! Имя! – потребовал от него мичман.

– Николай.

– Фамилия?

– Шаламов.

– Так это он? – спросил Хлодовский...

Панафидин еще раз глянул на Шаламова, который посерел лицом перед расплатой. Что ждало его теперь? Тюрьма? Каторга? Сахалин? Тачка?.. Тишина. Ах, какая тишина...

– Нет, это не он, – сказал Панафидин, отводя глаза от Хлодовского в сторону. – Тот, кажется, выглядел иначе.

– Разойдись по работам! – скомандовал Хлодовский, и «большой сбор» мигом рассыпался, как вода рассыпается брызгами, матросы растворились в проемах дверей и люков, исчезли в клинкетах и горловинах, а там, где только что качались две черные живые стенки, осталась лишь чистая палуба крейсера, крытая, как паркетом, настилом тиковых досок...

Проницательнее всех оказался иеромонах Алексей Конечников. Якут заманил Панафидина в свою каюту и сказал:

– Удивлен, почему другие не догадались. Виновником этого «большого сбора» был, конечно же, комендор Николай Шаламов. Вы, мичман, несомненно, поступили по-христиански.

– Жалко стало, – пояснил Панафидин. – Вдруг подумал, что где-то на опушке леса догнивает старая деревенька, а там живет мать и ждет сыночка-кормильца, ждет не дождется... Вот и решил: зачем я стану портить жизнь человеку?..

За обшивкою крейсера уже зашуршал смерзающийся лед, отчего возникло неприятное ощущение, будто по железу корпуса сам дьявол водил наждачной бумагой. В день 4 января 1904 года сигнальщики с вахты оповестили экипажи бригады:

– На берегу-то что... ой, вот полыхает!

– Да что там? Никак пожар?

– Горит... т е а т р. Со всеми причиндалами!

Панафидин сразу вспомнил Нинину-Петипа, которая после пожара театра в Чикаго резко усилила свою противопожарную бдительность. Пожар начался в разгар утренних репетиций, а к полудню от театра остались черные стены. Владивосток понес убытки на 100 000 рублей.

Среди жителей города и моряков бригады собирали пожертвования, чтобы актеры не пошли по миру с протянутой рукой... Ну вот и зима!

Бригада крейсеров медленно вмерзала в жесткий панцирь ледостава, и каперанг Стемман сказал:

– Вот из-за этого льда, будь он трижды проклят, Порт-Артур сделали главной базой флота на Тихом океане, а Владивосток – лишь вспомогательной, и, чтобы соединить свои усилия, нам не миновать проливов возле Цусимы, откуда давно торчат желтые зубы адмирала Хэйхатири Того.

– А кто автор этого соломонова решения?

– Указывают на «Его Квантунское Величество», дальневосточного наместника, адмирала Евгения Ивановича Алексеева.

– Господа, но адмирал Скрыдлов был против этого неразумного «расфасонивания» флота по двум отдаленным базам.

– Ах, что там Скрыдлов? Алексеев – внебрачный сын императора Александра II, и попробуйте-ка с ним поспорить...

На железнодорожных путях осипло и тревожно стонали паровозы, словно в ужасе перед дальней дорогой, которая ждет их там – за лесами Сибири, за паромной переправой через Байкал. Под самое Рождество, как бы бросая вызов своей судьбе, мать-Россия НЕ отменила демобилизацию отслуживших возрастов. В январе вокзал заполнили серые шинели квантунских батальонов и черные бушлаты Сибирской флотилии. Ратники запаса еще не ведали, что поезда, уносящие их в сторону родимых городов и деревень, скоро помчатся назад, а все они будут ехать обратно, снова мобилизованные. Но сейчас черные тряпицы, нашитые – словно траур! – поверх погон, являлись для них порукой мнимой свободы, когда никакой офицер уже не волен поставить их по стойке «смирно». Уходящие в запас сидели на тесных вокзальных лавках, передавая один другому бутылки с водкой, унтеры корявыми пальцами размазывали по горбушкам хлеба ядреную кетовую икру, а гармонисты наяривали:

Прощай, столица, я уезжаю.

Кому я должен – я всех прощаю...

В коридорах и аудиториях института царила необычная толкотня, армейские офицеры допытывались у флотских:

– Неужели вам ничего не говорят? Странно. У нас уже затребовали списки семей для эвакуации, выдают подъемные деньги.

– На флоте пока спокойно. Лед, лед, лед... Чего волноваться? Японский консул Каваками еще не мычит не телится.

– А что консул? Дерьмо собачье, моча кошачья...

Лед окреп уже настолько, что между крейсерами протоптали тропинки, как в деревне, матросы веселой гурьбой шлялись с корабля на корабль – в гости к землякам, городские извозчики смело везли подгулявших прямо к трапам – с бубенцами, как в разгульной кустодиевской провинции. Наконец посреди рейда возник городской каток, расцвеченный фонариками, по вечерам резало слух от острого визга коньков, оркестры крейсеров выдували в почерневшее небо старинные вальсы, звучавшие в эти дни как-то нежно-трагически...

Все тропинки погибли и все катки были разрушены, когда в бухту Золотой Рог вползли японские пароходы, а консул Каваками сразу перестал улыбаться русским офицерам. Японская колония во Владивостоке насчитывала примерно пять тысяч человек. Неизвестно, сколько

среди них было шпионов, но о парикмахерах сложилось точное мнение: «Наверняка они постригли нас, побрили и побрызгали вежеталем точно по инструкциям японского генштаба...» Однако грешно думать, будто все японцы были шпионами. Многие из них, честные труженики, нашли в России ту жизнь и то благополучие, о каких на родине и не мечтали. Японцы полировали зеркала, варили пиво, делали игрушки, выпекали пирожные, массажировали больных, учили гимнастике, ловко и честно торговали. Наконец, японские девушки... На родине нужда гнала их на фабрику или в публичный дом, а во Владивостоке их высоко ценили, доверяя им воспитание младенцев. Почти все русские семьи имели няню-японку, которая сама становилась членом русской семьи, самоотверженная, деловитая и чистоплотная...

В широких витринах универмага Кунста и Альберса в те дни выставляли газетные бюллетени о ходе дипломатических переговоров. Здесь постоянно толпился народ. Петербург опять уступал, но из Токио выдвигали требования, которые Петербург исполнить уже не мог – и все-таки он снова уступал! Возле этих витрин часто видели плачущих японок, которые баюкали на руках русских детей, но появлялся консул Каваками, и вся японская колония покорно кланялась ему.

– Корабли не могут ждать, – указывал консул. – Ликвидируйте свои дела, все должны срочно уехать домой...

На рейде появился громадный английский транспорт «Африди», чтобы разом покончить с японской колонией во Владивостоке. Японцы за бесценок переписывали свои конторы и магазины на имя китайских купцов, торопились распродать имущество. Скоро по улицам стало не проехать: все тротуары были заставлены вещами, соблазняющими прохожих уникальной дешевизной. Гарнитур венской мебели шел за 10 рублей, часы за трешку. Панафидин, гуляя по городу, был удивлен, что русские люди ничего у японцев не покупали. Запомнился один рабочий из доков, с ним была и жена. Семейно приценились к стульям, оглядели шкаф, жена перетрогала безделушки и... отошли в сторонку, ничего не купив. Мастеровой сказал:

– С чужой-то беды прибыли не надо. Тоже небось своим горбом наживали. Чего ж я теперь грабить их стану?..

«Африди» завывал сиреной, призывая к посадке. Владивосток еще не видел таких ужасающих сцен, как в эти дни. На пристани полно русских! Все жалели японцев, совали им в руки свертки с едой, дарили чайники, просили писать... А японских нянь было не оторвать от русских детей, ставших для них родными детьми. Слышались истерические рыдания, дети цеплялись за своих «тетя Дзю» и «мама Оку». Тут Каваками показал свое лицо самурая. У него, оказывается, заранее была приготовлена своя «полиция», которая беспощадно отрывала японских женщин от русских семей. Одна молоденькая японка с криком вырвалась от них, она спрыгнула на прибрежный лед, добежала до парящей полыньи и...

– Вечная память! – перекрестились русские.

Британский «Африди», словно торжествуя победу, снова взвыл похоронной сиреной, и этот мерзостный вой совместился с истошными криками паровозов, которые покидали Владивосток, развозя по домам демобилизованных... Возможно, Россия умышленно пошла на увольнение в запас солдат и матросов, дабы лишний раз показать всему миру, что русские воевать с Японией не собираются, а любой конфликт можно разрешить мирным путем. Но все случилось иначе...

Последующий анализ обстановки, проделанный уже советскими специалистами, показал, что положение нашего флота на Дальнем Востоке не было безвыходным. Дабы успешно противостоять эскадрам адмирала Того, требовалось стратегически верно дислоцировать корабли. Следовало собрать во Владивостоке сильнейшие крейсера, усилив их быстроходными броне-

носцами, оставив в обороне Порт-Артура лишь устаревшие корабли с малым ходом. В этом случае самая действенная, самая маневренная часть нашего флота не была бы оторвана от главной базы метрополии, она обрела бы ту боевую активность, какой не могли обеспечить всего лишь четыре крейсера бригады Рейценштейна. Тактические выгоды крейсерской войны могли бы сыграть главную роль в общей стратегии всей войны...

Снова и снова на бригаде поминали Макарова:

– Степан Осипыч, господа, не слишком-то уповаешь на броненосцы, считая, что крейсерами можно выиграть борьбу на море скорее и легче этих дорогостоящих утюгов...

Вслед за эвакуацией владивостокской колонии японцев произошло их удаление из Порт-Артура, схожее с паническим бегством. Китайская императрица Цыси убеждала Токио в своем строгом нейтралитете, но ее бандиты-хунхузы уже взламывали рельсы на КВЖД. 18 января А. И. Павлов, русский посол в Корее, известил Петербург о том, что в порту Мазанпо японцы выгружают с кораблей телеграфные столбы, лошадей и бурты ячменя. Корейский император тоже объявил нейтралитет. Под занавесом этого липового «невмешательства» самураи захватили все телеграфы в Корее, оборвали провода связи, не нарушив лишь линию Сеул – Чемульпо, где стоял наш крейсер «Варяг». Посол слал тревожные телеграммы в Петербург и в Мукден (наместнику Алексееву). Как и положено, отправку каждой телеграммы японцы заверяли квитанцией, но телеграммы отправлены ими не были. Павлов вызвал в Сеул командира «Варяга».

– Всеволод Федорович, – сказал он Рудневу, – я не уверен, что Петербург информирован о нашем положении, и потому канонерку «Кореец», стоящую в Чемульпо с вашим крейсером, хорошо бы отправить в Порт-Артур и с дипломатической почтой.

– Я, – отвечал Руднев, – вообще не понимаю, зачем наместник заслал моего «Варяга» в Чемульпо, а «Маньчжур» и «Сивуч» застряли в китайских портах... Не кажется ли вам, господин посол, что эти корабли уже обречены на гибель? В лучшем случае мы будем интернированы.

– Ну, – сказал Павлов, – до этого не дойдет. Японцы за последние годы цивилизовались достаточно, если разрыв и случится, то прежде последует официальное объявление войны...

В эти дни на бригаде крейсеров Владивостока появился ее начальник Рейценштейн, за которым мичман Житецкий таскал такой разбухший портфель, будто в его недрах уместились все вопросы войны и мира. Панафидин спросил приятеля:

– Чего хорошего, Игорь?

– Пришло время перекрашиваться.

– В какой колер?

– Очевидно, в зеленовато-серый...

Начался срочный аврал, и Владивосток – тысячами окон и глаз – издали наблюдал, как прекрасные «белые лебеди» быстро превращаются в серые и строгие тени. Было неясно, о чем Рейценштейн беседовал с командирами крейсеров, но многие видели в его руках книгу лейтенанта Н. Н. Хлодовского «Опыт тактики эскадренного боя», только что выпущенную в Петербурге.

– До чего мы дожили? – гневался он. – Куда же, черт побери, смотрела цензура? Какой-то лейтенант осмеливается поучать нас, заслуженных адмиралов. Какая распушенность...

Этот выпад против старшего офицера «Рюрика» вызвал недовольство каперангов, и Трусов вступился за Хлодовского:

– Не пойму причин вашего гнева, Николай Карлович, паче того, выводы моего старшего офицера Хлодовского смыкаются с мнениями адмирала Макарова. Не лучше ли нам, готовя корабли к войне, обсудить деловые вопросы. В частности, о запасах угля, об изъятии с крейсеров всякого дерева...

Стемман с удовольствием объявил Панафидину:

– Ну, Сергей Николаевич, пришло время списать вашу виолончель на берег, как непригодную для корабельной службы.

– А куда ж я дену ее? – обомлел Панафидин. – Инструмент старый, цены ему нету... ведь это же «гварнери»!

На лице Стеммана читалось явное злорадство.

– Не знаю, не знаю, – вздыхал он, вроде сочувствуя. – Но еще не встречал я такого музыканта, который бы сознался, что его инструмент соорудил слесарь Патрикеев... даже в одесских шалманах играют на скрипках Страдивари!

Матросы утешили Панафидина тем, что на крейсере полно всяких закоулков, о которых даже главный боцман не знает:

– Только не теряйте хладнокровия! Спрячем так, что и жандармы не сыщут. Будет вашей виолончели и тепло и сухо.

Утром на вопрос Стеммана мичман отозвался:

– Нету виолончели! Хотя, честно говоря, рояль в кают-компании даст больше жару, нежели мой несчастный «гварнери»...

Офицеры «Богатыря» завели скучнейшую беседу о начавшемся падении курса русского рубля. Недоумевали:

– Верить ли, что за наш рубль дают уже полтину?

С этим же вопросом Панафидин навестил своего кузена.

– Увы, – отозвался Плазовский, – получается как у Салтыкова-Щедрина: это еще ничего, если в Европе за рубль дают полтину, будет хуже, если за рубль станут давать в морду!..

– Похоже, что война неизбежна, Даня?

– Похоже. Даже очень похоже...

За дружным столом крейсера «Рюрик» неожиданно возник спор; начал его доселе не приметный мичман Щепотьев, младший штурман. Никто его за язык не тянул, он сам завел речь на тему, что предстоящая война с Японией, как и любая другая война, не вызывает в нем ничего, кроме отвращения:

– Сколько величайших умов прошлого звали народы к миру, согласию и равенству. А истории плевать на эти призывы, она следует своим путем – разбоя, насилия и оглупления народов ложным чувством дурацкого патриотизма.

– Толстовство, – буркнул Плазовский, сверкая пенсне.

– Болтовня, – добавил минный офицер Зенилов.

– Нет, позвольте! – горячился Щепотьев. – Выходит, праведники в борьбе за истину напрасно всходили на костры, зря гуманисты сидели в тюрьмах, напрасно и Вольтера гоняли, как бездомную собаку, по Европе. Мир остался неисправим...

Хлодовский постучал лезвием ножа о звонкую грань бокала, отчего в клетке сразу запиликали и запели птицы...

– Господин Щепотьев, – сухо сказал он штурману, – я согласен, что война всегда была противна человеческой натуре, но патриотизм никогда противен ей не был. Это первое. А вот и второе: мы носим мундиры не для того, чтобы болтать о философской природе войны. Дав присягу, мы обязаны исполнить ее, как бы тяжело ни было нам ее исполнение.

– Но почему? – возмутился Щепотьев. – Почему мы, военные, должны кровью расплачиваться за бессилие дипломатов, которые давно выжили из ума и уже трясутся от маразма?

Хлодовский неожиданно резко пресек этот спор:

– Мичмана Щепотьева я прошу удалиться в свою каюту...

Над притихшим столом поднялся механик крейсера – Юрий Маркович, сын народо-вольца и внук писательницы Марко Вовчок:

– Господа! Для военных людей всегда остается насущен коварный вопрос: ради чего мы живем? Нас превосходно одевают, отлично кормят, нам воздают почести... За что? Чем мы заслужили подобное транжирство от государства, которое ради оплаты наших прихотей обшарило карманы верноподданных? Мы живем (и живем лучше народа), наверное, лишь ради единого мгновения... Да, единого! В час роковой битвы мы обязаны расплатиться с Россией за все приятное для нашего честолюбия и довольства. Именно в момент боя мы обязаны отдать родине самих себя – до последней капли крови. И даже тот последний глоток соленой воды, что завершит нашу жизнь, мы должны принять от судьбы как наше святое причастие...

С этим все согласились, и Хлодовский велел подать к столу шампанское. На следующий день во Владивостоке было введено военное положение, которое – волею рока – совпало с разгульной Масленицей. Город уже предчувствовал, что вот-вот разразится нечто страшное. Патрули объезжали темные переулки, проверяя, все ли питейные заведения закрыты. Пьяных тащили в участки, где и секли за милую душу – без лишних разговоров. Жители города необычно нервно наблюдали с берега, как ледокол «Надежный» зигзагами ходил вдоль рейда, взламывая пласты льда между бортами крейсеров.

– Я, – вдруг признался Панафидин, – сам бы выбросил за борт свою виолончель, только бы знать, чем это все закончится и что думает сейчас адмирал Того в своем Сасебо!

Сасебо! Громадное знамя японского флагмана полоскалось над палубой броненосца «Миказа», который тяжело оседал в воду гавани многими тысячами тонн, перегруженный избытком новейшего вооружения. В адмиральском салоне мирно ворковали две перепелки... Хэйхатиго Того сказал:

– Больше всего я боялся, чтобы русские не перегнали эскадру Старка из Порт-Артура во Владивосток. Тогда бы весь русский флот оказался в одной базе, а наша борьба с ним стала весьма опасна. Но теперь, когда этого не произошло, инициатива целиком в моих руках, а броненосцы Старка отделяют от крейсеров Рейценштейна сразу два моря – Японское и Желтое. Именно об этом я молил богов, и боги меня услышали!

Сасебо – главное логово самурайского флота, чуть севернее города Нагасаки. Отсюда, из Сасебо, эскадры Того могли сразу же начинать стратегическое развертывание по всему морскому театру, проникая в Желтое море – к твердыням Порт-Артура, получали доступ и в море Японское – на путях к Владивостоку. Близ Сасебо, между берегов Японии и Кореи, совсем затерялся малоизвестный остров Цусима, а выше него, ближе к северу, океан вздымал над водою скалы нелюдимого Дажелета (иначе – Мацусима). Это лишь скучная география, но она требует от читателя внимания и даже помощи карты...

Того был высокого роста, сутуловат, лицо его смолоду покрывала сетка мелких морщин, как это бывает с древним фарфором. Английские газеты заранее делали из него героя. Лондон извещал читателей, что адмирал Того, как и все великие люди, легко переносит одиночество, он способен совсем обходиться без общества, сутками не покидая каюты своего броненосца. С берега доносилось пение японских женщин, грузивших уголь в корабельные бункеры. Большие серые крысы, забежавшие на корабли, теперь ошалело метались по трапам, обнюхивая глубокие ущелья придонных отсеков, схожие с подвалами гигантских зданий. Скланки по всей эскадре отбили тягостную полночь... 23 января микадо оповестил адмирала о начале войны с Россией. Еще раз перечитав приказ императора, Того задумчиво кормил перепелок. Ему доложили о прибытии флагманов.

– Пусть войдут, – сказал он, рассыпая перед птицами зерна...

В салон, кланяясь, вошли флагманы и командиры броненосцев. Их сабли приглушенно позванивали. Жесткие усы топорщились на лицах, искаженных гримасами вежливых улыбок.

– Милостью небес и богов... слушайте приказ...

Они слушали приказ императора. При этом они слышали, как в командных галюнах трюмные машинисты с шумом продували фановую систему, освобождая «Миказу» от бытовых нечистот.

– Дипломатические отношения с Петербургом прерваны, но слово «война» мы произносим первыми... мы, ф л о т! Наш посол Курино, наверное, уже покинул русскую столицу, а русский посол в Токио, барон Розен, еще не знает, ибо телеграммы о разрыве отношений задержаны нашими службами на телеграфе в Нагасаки... Утром мы будем на пути к Порт-Артуру!

Вестовые внесли подносы, уставленные чашечками с сакэ, и самую маленькую из них Того преподнес адмиралу Уриу, который славился на флоте склонностью к алкоголизму:

– Вам предстоит налет на Чемульпо, где вы обязаны разломать русский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец».

Вице-адмирал Гиконойо Камимуро командовал японскими крейсерами, и Того преподнес ему чашечку побольше.

– Я счастлив служить с вами, – сказал Того. – Вам предстоит в дальнейшем выбить все владивостокские крейсера...

В 7 часов утра 24 января соединенный флот японского императора, расталкивая тяжелые осыпи волн, выступил в море – бронированная армада, пресыщенная активным человеческим материалом и наилучшими механизмами европейского производства. В кубриках офицеры учили матросов петь новую песню:

Сколько снега в сибирских равнинах,
Столько зависти в сердце России...

Во всем этом затаилась крохотная крупица тайны, имевшая слишком большое значение. Английская колония Вэйхайвэй располагалась на кончике полуострова Шантунг, как и Порт-Артур размещался на окончании полуострова Квантун (Ляодун). Это как два острых клыка, торчавших из пасти Печелийского залива. Так вот! Именно свою гавань Вэйхайвэй англичане и предоставили к услугам адмирала Того, именно из английской гавани японские миноносцы, дрожа от свирепого напряжения, ринулись в атаку на корабли нашей Порт-Артурской эскадры.

Конечно, парламент короля Англии отказывался признать этот факт, ибо в этом случае нападение японцев на Россию выглядело бы как совместное нападение на нее. Но истина все же была установлена, она подтверждается и в научной монографии нашего историка А. Гальперина «Англо-японский союз».

Итак, война началась – без объявления войны.

В ночь вероломного нападения наша эскадра стояла на внешнем рейде Порт-Артура, обнаженная со стороны открытого моря. Японские миноносцы подорвали броненосцы «Ретвизан» и «Цесаревич», повредили крейсер «Паллада». Русская эскадра открыла хаотичный, но столь плотный огонь, что повторных атак не последовало. Затем в неравном бою с эскадрой адмирала Уриу героически погибли «Варяг» и «Кореец».

Первые неудачи никак не обескуражили экипажи боевых кораблей. Но тогда же возникла клеветническая легенда, в которой была замешана Мария Ивановна Старк, жена адмирала. Люди, далекие от событий и плохо понимающие законы флотской службы, разносили по стране дикую и нелепую сплетню:

– Слышали, что у нас творится? Как раз в ту ноченьку адмирал Старк решил «день Марии» праздновать. Ну, бал закатил. Офицеры с кораблей ушли, чтобы плясать там всякое. Того того и ждал: пришел и давай всех калечить... Говорят, таких дырок в кораблях понаделал, что теленка в них просунешь.

Клевета о «дне Марии», давно разоблаченная очевидцами и историками, уютно пригласилась в литературе, кочуя по книгам как выигрышный момент для обострения сюжета: мол, смотрите, наши дурачки пляшут, а враги побеждают. Между тем точно известно: никакого гранд-бала Старк не закатывал, в ту ночь только что закончилось совещание командиров кораблей, все офицеры, как и матросы, не покидали боевых постов... Кто же автор этого скверного анекдота? Версию о «дне Марии» никогда не опровергал сам наместник царя адмирал Алексеев, чтобы оправдать свой же приказ – оставить эскадру на внешнем рейде Порт-Артура! Старк в этом случае был потребен ему как «стрелочник», которому и отвечать за катастрофу. Старк же не смел оправдываться только потому, что ему было велено заткнуться и молчать, если желает умереть на заслуженной пенсии.

Владивосток уже завалило сугробами снега, сильно морозило. Из дверей харчевен валили клубы пара, пахнувшего блинами: Масленица продолжалась! Никто еще толком ничего не знал, а слабонервные натуры уже спешили на вокзал Владивостока, образуя крикливую очередь к билетной кассе:

– Мне бы до Хабаровска... два билета. А разве на Петербург все проданы? Вот те на! Чего ж я тогда стояла как дурочка? Ну, дайте до Иркутска... тоже нету? Безобразие! Еще война не объявлена, а железная дорога уже не работает...

– Чего вы, мадам, волнуетесь? – огрызались кассиры. – Вы посмотрите на карту: где Порт-Артур и где Владивосток? Вы не успеете доехать и до Иркутска, как с Японией все будет покончено, а мир подпишут обязательно в Токио...

27 января ледокол «Надежный» доломал льды вокруг крейсеров, а их команды кричали «ура!». Возглас матросов подхватили студенты Восточного института, в нетерпении выставившие зимние рамы окон. Толпа жителей кинулась бежать к пристани, где оркестры гарнизона наигрывали марши, на берегу остались рыдающие жены и невесты... Крейсера ушли, а Владивосток сразу погрузился в уныние, словно осиротел. В храмах начались торжественные молебны об «одолении супостата». Японской колонии в городе уже не было, но японские шпионы остались. Иные переоделись в белые широкие одежды, выдавая себя за корейцев; другие прицепили себе фальшивые косы, выдавая себя за китайцев. На телеграф Владивостока от них поступали срочные телеграммы, адресованные в Сеул и Гензан: «Разгружайте четыре вагона с мясом», «Высылаю четыре швейные машинки». Тут и ума не требуется, чтобы разгадать смысл предупреждений, которые предназначались для адмирала Камимурой! Это был главный противник владивостокских крейсеров, наши матросы звали его Кикиморой, а иногда Караморой...

– Ну вот и пошли, – сказал мичман Панафидин, когда крейсера выбрались из тисков льда на чистую воду...

Колокола громкого боя возвестили экипажам первый воинственный «аллярм» – тревогу. Из пушек звончайше ударили пробные выстрелы – для прогревания застылых стволов. В нижних отсеках минеры уже закладывали в аппараты мины Уайтхеда (торпеды), говоря при этом даже обидчиво:

– Мама дорогая! Эдакая зараза по четыре тыщи за штуку. Ежели б на базаре продать ее, так до конца жизни можно ни хрена не делать... Жуть берет, как подумаешь, во что ж эта война мужикам да бабам нашим обходится!

Крейсера еще расталкивали одинокие льдины.

Рейценштейн держал свой флаг на «России».

А на мостике «Богатыря» – догадки и пересуды:

– Все-таки не мешало бы знать, куда мы идем?

– Секрет! Говорят, командирам выданы особые пакеты, которые они могут вскрыть лишь вдали от берегов...

За кормою растаял остров Аскольд; крейсера, натужно стуча машинами, вышли в открытое море, составляя четкий кильватер. Мороз усиливался. Стемман вскрыл пакет.

– Идем к Сангарскому проливу, – объявил он.

Сангарский пролив рассекал север Японии, отделяя от нее древнюю землю Иесо (ныне Хоккайдо), и офицеры «Богатыря» сразу же засыпали капитана 1-го ранга вопросами:

– Почему в Сангарский? Там полно японских батарей... Сунуться туда – это как идти на расстрел!

– Успокойтесь. Нам приказано лишь пошуметь у входа в пролив, чтобы вызвать панику в расписании японского каботажа. Если это удастся, адмирал Того будет вынужден оторвать часть своих сил к северу, ослабив напряжение у Порт-Артура...

Стрелки магнитных компасов уже дрогнули в своих медных котелках, крейсера медленно склонялись к остовым румбам. Панафидин поспешил в рубку, чтобы помочь штурману крейсера в прокладке генерального курса.

– Я не слишком-то верю в приказ из пакета, – сказал штурман. – Скорее всего, войдем в Сангарский пролив, чтобы потрепать нервы гарнизону города Хакодате...

Началась зверская качка. Сильная волна переключивала крейсера с борта на борт, в каком-то тумане плавали расплывчатые фигуры комендоров, завернутых в тулупы. С флагмана последовал сигнал: «Возможны атаки японских миноносцев. Зарядить орудия». С кормового балкона «Громобоя» море шутя слизнуло одного матроса, который даже вскрикнуть не успел.

– Был человек, и нет человека, – говорили матросы...

Крейсера шли без огней, ни один луч света не вырывался наружу из их громадных, ярко освещенных утроб, наполненных стуком машин и завываниями динамо. Дистанция между мателотами (соседями) скрадывала в ночи очертания кораблей, с «Рюрика» едва угадывали корму «Громобоя», которая то вскидывалась вверх, то проваливалась вниз, словно в каком-то хаотичном приплясе. Офицеры ходили в валенках, завидуя матросским тулупам, их кожаные тужурки покрывались ледяной коркой. Панафидин с молодым задором хвастался:

– Вторые сутки не сплю! И сна ни в одном глазу. Вот что значит война: даже спать не хочется...

Под утро усталость всех свалила по койкам, но заснувших людей взбодрила команда с мостика:

– Горнисты и барабанщики – по местам...

Опять «аллярм»! Где-то вдали едва просвечивал берег Японии, а из скважины Сангарского пролива вдруг выхлопнуло клуб дыма. Скоро показался пароход под японским флагом.

– Будем топить, – без волнения сказал Стемман.

Соцветие флагов Международного свода сигналов приказывало японцам: оставить палубу, пересесть в шлюпки.

– Боевым... клади! – слышалось от пушек.

Очевидно, попали в бункер, потому что пароход выбросил в небо сгусток угольной пыли. Рейценштейн велел «Громобою» принять японцев на борт, ибо всем было видно, как трудно им выгребать на веслах к берегу. Это проявление человеколюбия задержало крейсера, которые добивали противника снарядами. Он погружался в море кормою, задрав нос, на котором можно было прочесть название: «Никаноура-Мару»... Рейценштейн приказал бригаде отвора-

чивать от Японии к берегам Кореи. Никто не понимал, чем вызвано это решение. Даже каптенант Стемман, осторожный в критике начальства, ворчал:

– Ради чего мы пережгли столько драгоценного угля, чтобы у самого входа в Сангарский пролив отворачивать обратно? Боюсь, что наш Николай Карлович уже начал тосковать по сухой постели и не подумал о последствиях отворота...

Мириады брызг, вздыбленные штормом до высоты клотиков, на лету смерзались в жесткие кристаллы, ледяная корка обволакивала пушки и мачты, рулевые ногтями сдирали со стекла ледяной панцирь, чтобы видеть то, что лежало впереди по курсу. Внутри крейсеров все содрогалось от качки, винты, рассекая уже не воду, а воздух, иногда завывали так, что было жутко. Люди прислушивались, как постанывает бортовое железо – от чудовищных перегрузок на сжатие и растяжение корпуса.

Стемман проявил к Панафидину отеческое внимание:

– Как чувствуете себя, Сергей Николаич?

– Превосходно... у меня вестибулярный аппарат в порядке. Осмелюсь доложить: мы уже выходим на меридиан Владивостока, скоро, наверное, перед нами откроются корейские берега...

В шесть часов утра 1 февраля Рейценштейн указал бригаде следовать во Владивосток. Критика превратилась в брань:

– Конечно, весь обвешанный орденами, он привык сидеть на берегу при своих чемоданах... Много с ним не навоюешь!

– Ахинея, – конкретно выразился штурман «Богатыря». – Своим приказом о возвращении Николай Карлович словно оторвал меня от женщины, которую я только что начал целовать...

Объятые стужей и морем, владивостокские крейсера тяжело разворачивали бивни своих форштевней – к норду.

– Да, чепуха, – поддержал штурмана Стемман. – У меня такое дурацкое ощущение, будто эта война с Японией вообще не имеет четкого плана. Кто-то там в Адмиралтействе ляпнул, чтобы крейсера пошумели назло японцам, а Рейценштейн даже расшуметься-то не сумел...

Рулевой, стоя у штурвала, буркнул в усы:

– Тоже мне война... как в подкидного сыграли!

Панафидин испытывал чувство сомнительной обиды на эту войну. Именно потому, что война не казалась ему страшной.

Лживая легенда о «дне Марии» пришлась по вкусу японским газетчикам, ибо эта басня рисовала русский флот в самом неприглядном свете. Но японцы переиначили ее на свой лад. Вот как выглядела она в изложении популярного журнала «Нитиро-Сенси»: «Когда мы напали на Порт-Артур, в городском театре шло веселое представление “Русско-японская война”. Беспечные русские офицеры как раз смотрели последний акт этой пьесы, который назывался “Победа России”, и бутафорская пальба пушек на сцене заглушала для них звуки настоящей битвы на море...»

Микадо и микадесса поздравили Того с победой!

Парламент поднес ему благодарственный адрес, а корейский император подарил 50 коров и 30 000 пачек папирос, на всю жизнь обеспечив адмирала дармовым куревом. Вместе с адмиралом Того японская пресса восхваляла сомнительный «подвиг» миллионера Сонодо, который в первый же день войны отдал для победы свои золотые часики с длинной цепочкой. Газета «Дзи-Дзи» выступила с патриотическим призывом: «Найдем тысячу красивейших гейш, и пусть они собирают деньги в фонд победы: один поцелуй за 10 иен! Вы не думайте, что мы шутим, – продолжала “Дзи-Дзи”. – Как нам передают из достоверных источников, в русском

городе Пермь г-жа Сахарина (?) на общественном балу собрала своими поцелуями с публики сразу 1500 иен (?) за один час (?)...» Конечно, в Перми целовались тогда сколько угодно, но никакой г-жи Сахариной в Перми не существовало, фонд обороны не зависел от поцелуев...

Героическая схватка «Варяга» с эскадрой адмирала Уриу заставила многих японцев задуматься о высоком воинском духе русских воинов. Токийская пресса выразила восхищение мужеством матросов и офицеров «Варяга», кривобоко объясняя его... самурайским духом, воплотившимся в Рудневе! Лишь на четвертый день после нападения Япония объявила миру, что она находится в состоянии войны с Россией. Маркиз Ито, все министры и дамы из окружения микадессы – с цветами! – провожали на токийском вокзале русского посла Розена, который мог бы сказать провожающим: «Если бы вы, дамы и господа, не обманывали меня, если бы вы не утаивали телеграмм на мое имя из Петербурга, возможно, все было бы иначе...» Наконец, на родину возвратился и барон Курино, бывший послом в Петербурге. Курино-то больше других японцев знал, что Россия потому и шла на уступки, что войны с Японией никак не хотела. Об этом он и заявил в Токио, после чего газеты писали: «Г-н Курино высказал в интервью совершенно нелепое мнение, будто Россия в нынешней войне неповинна... Каково нам слышать эти слова? Пусть он оправдается». Но Курино продолжал утверждать:

– Русские не ожидали нашего внезапного нападения, в Петербурге до самого последнего момента рассчитывали разрешить все наши несогласия лишь дипломатическим путем...

В газетах Лондона все чаще встречались выражения: наши солдаты, наши корабли, хотя речь шла о японцах. В самом деле, зачем проливать свою драгоценную кровь, если войну с Россией можно выиграть самурайским мечом? Немало в эти дни радовался и президент США – Теодор Рузвельт, писавший: «Я буду в высшей мере доволен победой Японии, ибо Япония ведет нашу игру...» В японских госпиталях появились поджарые американки в халатах сестер милосердия. Откуда знать этим женщинам, что их сыновья будут взорваны в гаванях Пирл-Харбора детьми тех солдат, которых они сейчас поили с ложечки...

В самом конце января Япония болезненно вздрогнула: русские крейсера замечены у входа в Сангарский пролив! В потоплении парохода «Никаноура-Мару» японские политики увидели великолепную ширму, за которой удобнее всего скрыть свое собственное вероломство. Вся японская пресса развопилась как по команде, что русские моряки варварски нарушили «священные права войны». В газете «Иомиури» потопление парохода выдавалось за проявление «дикой жестокости и развратности русских, способное заставить самого хладнокровного человека стиснуть зубы...». При этом, конечно, не указывалось, что русские крейсера открыли боевой огонь, когда экипаж «Никаноура-Мару» был уже в шлюпках.

...Бригада крейсеров вернулась во Владивосток.

Ну ладно. Посмотрим, что будет дальше.

Русские газеты тоже во многом бывали грешны. Матросы с крейсеров возвращались из увольнения обозленные:

– Эти поганые писаки развели галиматью, будто мы ходили на обстрел Хакодате. Нас теперь встречают на берегу словно героев, стыдно людям в глаза смотреть...

Стемман собрал своих офицеров:

– Подождем судить Николая Карловича! Кажется, Рейценштейн был прав, вернув бригаду с моря. Дело в том, что уже на третьи сутки похода мы оказались полностью небоеспособны... Да! Я уж молчу о поломках в машинах старого «Рюрика», вы лучше посмотрите, в каком состоянии наша артиллерия...

Волна, заливая крейсера, заполнила стволы их орудий, отчего внутри каналов образовались мощные ледяные пробки. Комендоры теперь не могли вытащить обратно снаряды, не могли и выстрелить их в небо, чтобы разрядить пушки:

– Выстрели, как же... Не только от нас полетят клочья мяса, так и все пушки на сто кусков разнесет!

Шлангами с раскаленным паром обогрели стволы, лишь тогда из них выпали на палубу прозрачные ледяные бревна со следами пушечных нарезков. Потом задумались: случись встреча с кораблями Того или Камимурэ, и ни одна из пушек бригады не смогла бы на огонь противника ответить своим огнем.

– А кто виноват? Я, что ли? – рассуждали повсюду, явно удрученные этой дурацкой историей. – Из боевых кораблей начальство понаделало «плавучих казарм», где учили, как надо честь отдавать офицерам... Все пятаки считали, мудрена мать! В море-то зимой не выпускали, на угле экономили. Конечно, отколь же нам иметь опыт плавания в сильные морозы?..

Примерно такой же разговор состоялся у Панафидина с офицерами «Рюрика», которые залучили богатырского мичмана в ресторан Морского собрания. Это был врач Николай Петрович Солуха, это был мичман Александр Тон, выходец из семьи славного архитектора. Тон возмущался:

– Зато у нас мыла никогда не жалели! По сорок раз одно место красили... Сегодня подсохнет, завтра соскоблим и заново красим... Впрочем, первый блин всегда комом, не правда ли?

Панафидину был симпатичен рюриковский доктор.

– Вы давненько у нас не были, – сказал ему Солуха.

– Все некогда... с девиацией крутимся.

– Ах, эта девиация, – вздохнул Тон. – Беда с нею прямо. Уж сколько трагедий знавал флот от этих магнитов...

Панафидин навелит кают-компанию «Рюрика» не в самую добрую минуту ее истории, и виною тому снова оказался тишайший до войны мичман Щепотьев, который развивал прежнюю тему:

– Лично мне японцы не сделали ничего дурного, чтобы я убивал и топил их. Думаю, японцы тоже не могут испытывать ко мне ненависть, чтобы убивать меня... Разве не так?

Панафидин глянул на своего кузена: отточенные линзы пенсне Плазовского сверкнули, как бритвенные лезвия.

– Перестаньте, Щепотьев! Природа войны со времен глубокой древности такова, что человек убивает человека, не испытывая к нему личной ненависти. А когда на родину нападают враги, тут мудрить не стоит: иди и сражайся... Basta!

Хлодовский помалкивал, и, казалось, своим преднамеренным молчанием он побуждает спорщиков высказаться до конца.

– Почему, – не уступал Щепотьев, – я должен жертвовать собой, своим здоровьем и своим будущим единственно лишь потому, что в Петербурге не сумели договориться о мире? Если не желаете понимать меня, так почитайте, что пишет о войнах Лев Толстой. Вы можете переспорить меня, мичмана Щепотьева, но вам не переспорить великого мыслителя земли русской!

Доктор Солуха не выдержал. Он поднял руку:

– Толстой велик как писатель, но как мыслитель... извините! Бога ищет? Так на Руси все ищут Бога и найти не могут. Но никто из этих искателей не кричит об этом на улицах... Простите, – заключил доктор, обращаясь к якуту-иеромонаху, – что я невольно вторгся в вашу духовную область.

– Бог простит, – засмеялся Конечников.

В спор вмешался старейший человек на крейсере – шкипер Анисимов, который выслужился из простых матросов, заведя на «Рюрик» маляжкой с кистями и запасами манильской пеньки, своим горбом выслужил себе чин титулярного советника.

– Я, – скромно заметил он, – удивляюсь, что мы даже о Толстом побеседовали, но никто из нас не помянул о простейших вещах на войне – о святости присяги и воинском долге...

Кажется, Плазовский обрадовался этим словам.

– Почему ваши сомнения в справедливости войн возникли только сейчас? – обрушился он на Щепотьева с апломбом заправского юриста. – Ведь когда вы избирали себе карьеру офицера, у вас, наверное, не возникало сомнений в вопросе, противна ли война человеческой природе? Вскормленные на деньги народа, вы не стыдились получать казенное жалованье, в котором тысячи ваших рублей складывались из копеек и полушек налогоплательщиков! Значит, получать казенные деньги вам стыдно не было. А вот бить врагов вам вдруг почему-то стало неудобно... совесть не позволяет.

Только сейчас в спор вступил Хлодовский:

– Какова же моральная сторона вашего миротворчества? Меня, сознаюсь, ужасает мысль, что, не будь войны, вы бы спокойно продолжали делать карьеру... Теперь я вас спрашиваю, господин Щепотьев: почему вы молчали раньше, а заговорили о несправедливости войн только сейчас, когда война для всех нас стала фактом, а присяга требует от вас исполнения долга?

– Вы все... к а с т а! – вдруг выпалил Щепотьев. – История еще накажет всех вас за ваши страшные заблуждения.

– Если мы и каста, – невозмутимо отвечал Хлодовский, – то эта каста составлена из патриотов отечества, и, простите, вы сами сделали уже все, чтобы не принадлежать к этой касте, представленной за столом крейсера «Рюрик».

– Что это значит? – изменился в лице Щепотьев.

– Это значит, что вы обязаны подать рапорт об отставке, ибо русский флот в ваших услугах более не нуждается...

Щепотьев удалился в каюту. Все долго молчали, даже птицы притихли в клетке, нахлебавшись. Это неприятное молчание рискнул нарушить барон Кесарь Георгиевич Шиллинг, вахтенный офицер в чине мичмана, обладавший классической фигурой циркового борца тяжелого веса.

– Мы люди темные, сермяжно-лапотные, – начал придуриваться барон. – Однако приходилось слышать, что больше всего сумасшедших в процветающих государствах, где царит полная свобода мысли. Но там, где свирепствует цензура, люди остаются в здравом рассудке и никогда не ляпнут ничего криминального.

Панафидин робко спросил врача Солуху:

– Скажите, а Щепотьев нормален ли?

– Нормальнее всех нас... просто струсил.

– Во-во! – согласился старик Анисимов...

После ужина к Панафидину подошли штурманы крейсера (старший и младший), капитан Михаил Степанович Салов и мичман Глеб Платонов – сын сенатора из новгородских дворян.

– Вы, Сергей Николаич, – сказал Салов, – давно хотели бы перевестись на наш «Рюрик». Я думаю, вы вполне можете заменить мичмана в отставке Щепотьева... У нас есть рояль, имеем три граммофона и не будем против вашей виолончели.

Грянул выстрел! Мимо офицеров, расталкивая их, в белом фартуке и размахивая полотенцем, как заправский официант, пробежал вестовой «Рюрика», обалдело крича:

– Щепотьев-то... прямо в рот! Только мозги брызнули...

Хлодовский раскуривал папиросу, и Панафидин видел, как дрожали его руки, разрисованные цветной японской татуировкой: зеленый осьминог увлекал в пучину ярко-красную женщину.

– Пиф-паф, и все кончено... самый легкий способ избавиться от ужасов войны. Щепотев уже нашел свой вечный мир, а сражаться за него будут другие! Негодяй... мерзавец...

30 января адмирал Алексеев созвал в Мукдене ответственное совещание. Громадные китайские ширмы, расписанные журавлями и тиграми, заслоняли наместника от нестерпимого жара пылающих каминов. Иногда он вставал, как бы между прочим, подходил к бильярду и, всадив шар в лузу, снова возвращался за стол, покрытый плитой зеленого нефрита. Только вчера подорвался на минах заградитель «Енисей», и потому флагманы рассуждали о минной опасности. Начальник штаба Порт-Артурской эскадры, контр-адмирал Вильгельм Карлович Витгефт, говорил тихонечко, словно во дворце наместника лежал непогребенный покойник. «Его Квантунское Величество» сказал, что сейчас на самых высших этажах великой империи решается вопрос о замене Оскара Викторовича Старка (который, надо полагать, и выполнял сейчас роль этого «покойника»):

– Начальником эскадры в Порт-Артуре, вне всякого сомнения, будет назначен Степан Осипович Макаров.

При этом Витгефт испытал большое облегчение.

– Слава богу, – перекрестился он, – я так боялся принимать эскадру от Оскара Викторовича... Ну какой же я флотоводец?

Верно: никакой! Сам по себе хороший человек, Вильгельм Карлович флотоводцем не был, а свои штабные досуги посвящал писанию беллетристики (его «Дневник бодрого мичмана» пользовался успехом среди читателей). Совещание постановило: ускорить ремонт кораблей, подорванных японцами, подходы к городу Дальнему оградить минными постановками. Наместник, поигрывая зеленым карандашом (его любимого цвета), добавил:

– НЕ РИСКОВАТЬ! Дабы сохранить дорогостоящие броненосцы, будем действовать миноносками... и крейсерами, конечно!

4 февраля адмирал Макаров спешно отбыл на Дальний Восток. Военный министр Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской армией. При свидании с адмиралом Зиновием Рождественским, который готов был составить на Балтике 2-ю Тихоокеанскую эскадру, Куропаткин адмирала радостно облобызал:

– Зиновий Петрович, до скорого свидания... в Токио!

Перед отъездом на фронт Куропаткин собирал с населения иконы. Его дневник за эти дни испещрен фразами: «Отслужил обедню... приложился к мощам... мне поднесли святую икону... много плакали...» Я не обвиняю Куропаткина в религиозности, ибо вера в Бога – это частное дело каждого человека, но если Макаров увозил в своем эшелоне питерских рабочих для ремонта кораблей в Порт-Артуре, то Куропаткин увозил на поля сражений вагоны с иконами, чтобы раздавать их солдатам. Недаром же генерал Драгомиров, известный острослов, проводил его на войну крылатыми словами: «Суворов пришел к славе под пулями, а Куропаткин желает войти в бессмертие под иконами... опять не слава богу!» Проездом через взбаламученную войною Россию, минуя Сибирь с эшелонами запасных ратников, Куропаткин часто выходил из вагона перед народом, восклицая:

– Смерть или победа! Но главное сейчас – терпение, терпение и еще раз терпение... В этом главный залог победы.

Россию наполняли подпольные листовки со стихами:

Дело было у Артура,
Дело скверное, друзья:
Того, Ноги, Камимура

Не давали вам житья.
Куропаткин горделивый
Прямо в Токио спешил...
Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил?

В разгар этих перемещений высшего начальства владивостокские крейсера совершили второй поход – к берегам Кореи, где с большим старанием обшарили заливы и бухты в поисках японских кораблей с войсками, но таковых не обнаружили.

Обескураженные, возвращались во Владивосток.

– Где же Того? – гадали на мостиках. – Где Камимура с его крейсерами? Бродим по морю, как по кладбищу...

Морозы во Владивостоке были сильные – до 20 градусов по Цельсию. Когда проталкивались через льды к местам стоянки, с бортов крейсеров срывало медную обшивку ниже ватерлинии.

А жители города рассказывали вернувшимся морякам:

– Без вас тут боязно! На крепость да пушки мы и не рассчитываем. Единая надежда на вас – на крейсерских...

Панафидин крепко уснул в своей каюте под мелодичные звоны столового серебра, которое перемывали в лохани вестовые, болтавшие меж собою:

– А вот, братцы, этот самый Кикимора-то японский, говорят, мужик богатый... у него свой домина в Токио! Англичане ему уже привесили свой орден... за геройство евонное.

– Да где они геройство-то видели? Ежели Того зубы скалит у самого Артура, так Караморе этой прямой расчет сюда податься с крейсерами... от города одни головешки останутся!

Перемыли всю посуду и разошлись по кубрикам спать.

Флагманский крейсер «Идзумо» бросил якоря в заливе Такесики, что на острове Цусима. Контр-адмирал Гиконойо Камимура с почетом встретил у трапа английского журналиста Сеппинга Райта, сказав ему, что рад видеть у себя первого корреспондента Европы, допущенного на корабль микадо.

Сеппинг Райт приподнял над головой кепку.

– Первого, и боюсь, что единственного? – съязвил он.

– Возможно, что только вам оказана эта честь, – согласился Камимура. – Но от наших добрых друзей у сынов Ямато нет секретов. Между нами немало общего... хотя бы географически! Как ваша Англия нависает неким довеском над Европой, отделенная от нее водою, так и наша Япония оторвалась от материка Азии, сказочной птицей паря над океаном.

Внутри крейсера «Идзумо» монотонно верещали сверчки, живущие в крохотных бамбуковых клеточках. В кубриках было тепло и чисто. На рундуках сидели матросы, в их руках мелькали вязальные спицы, а унтер-офицер читал им вслух старинный роман о подвигах семи благородных самураев.

– У нас все заняты, – говорил Камимура, сопровождая гостя в салон. – Это русские, когда им нечего делать, пьют водку или играют в карты. А наши матросы заполняют свободное время пением патриотических песен или вяжут шерстяные чулки для собратьев-солдат победоносной армии...

Салон Камимуры поразил Райта почти нищенской простотой; на круглом столике, покрытом бедной клеенкой, в кадке красовался карликовый кедр, которому насчитывалось 487 лет.

Самому же Камимуре было тогда 54 года.

– И все-таки мои предки, – рассказывал он, – не позволили кедру развиваться в могучее дерево. Лишая его воды и земных соков, они жестоким режимом принудили его превратиться в карлика, который не потерял качеств, свойственных кедром, растущим на воле. Да, он маленький. Но он крепок, как и высокие деревья. Этим он похож на нас, на японцев...

Были поданы папиросы и чай. Камимура был большим любителем чеснока, и потому в разговоре с европейцем держал во рту кусочек имбиря, чтобы отбить дурной запах. Райт сказал, что в Корее, кажется, снова вспыхнула эпидемия оспы.

– Увы, – взгрустнул Камимура. – Нам, японцам, придется тратить лекарства на излечение этих бездельников. Вы, европейцы, еще плохо представляете те культурные цели, какие имеет наша Япония перед дикой и темной Азией...

Райт был хорошо осведомлен о положении в Порт-Артуре, ибо огни миноносков Старка блуждали по ночам неподалеку от Вэйхайвэя; он прямо спросил Камимуру, обладает ли тот достаточной информацией о русских крейсерах Владивостока:

– Ведь они всегда могут улизнуть от вашего внимания на Сахалин или даже... даже на Камчатку!

Камимура подвел Райта к аквариуму, в котором со времен японо-китайской войны проживал печелийский угорь, пребывая в глубокой меланхолии, свойственной всем «военнопленным». Но стоило адмиралу включить яркое освещение, как этот угорь мгновенно преобразился. Скинув хроническую депрессию, он вдруг сверлящей юлой стал зарываться в грунт аквариума.

Мелькнул его жирный хвост – и угря не стало!

– Видите? – вежливо улыбнулся Камимура. – Русские крейсера, как и этот угорь, будут вскоре вынуждены прятаться от ярчайшего света моих прожекторов. Владивосток станет для них таким же маленьким и тесным аквариумом, в котором они будут оплакивать свою печальную судьбу...

Сеппинг Райт остался недоволен этой беседой:

– Конечно, публике Лондона будет интересно читать о матросах, вяжущих чулки, они с удовольствием прочтут описание вашего кедра и этого забавного угря. Но желательно бы знать, каковы тактические задачи эскадры ваших броненосных крейсеров? Вы командуете самой оперативной группой.

– О да! Мне оказана великая честь...

И как ни бился Райт, больше Камимура ничего ему не сказал (японцы умели беречь свои тайны).

Вскоре адмирал Того пожелал видеть Камимуру на своем флагманском броненосце.

– Русские крейсера, – говорил он, – опять выбрались из льдов Владивостока, недавно они шлялись возле Гензана, откуда наши станции слышали их переговоры по радиотелеграфу. Дальность их аппаратов «Дюкретэ» не превышает тридцати миль слышимости... Я прошу вас ознакомиться с последней директивой нашей главной квартиры. Читайте.

Камимура изучил указание Токио: «Предпринять немедленно решительные действия против Владивостока, послав туда часть флота для демонстрации устрашения неприятеля, пользуясь тем, что Порт-Артурская эскадра в самом первом бою понесла большие повреждения...» Того начал кормить перепелок.

– Мне желательно слышать, что вы скажете.

– Я думаю, – сказал ему Камимура, – что семи моих броненосных крейсеров вполне хватит для того, чтобы привести в ужас жителей Владивостока, после чего русские крейсера уже не рискнут вылезать в море дальше острова Аскольд.

Оркестр на палубе «Миказы» проиграл старую английскую мелодию: «В те давние денечки, когда все было другим, мы встречались с тобой на лужайке...» Того спокойным тоном сообщил о назначении Макарова и Куропаткина.

– Вряд ли Макаров может исправить все то, что разрушено нами до него. Закупорка мною Порт-Артура не позволит ему вывести эскадру для боя с моей... Сейчас, – продолжал Того, – вся Европа и даже Америка с трепетом взирают на Японию, тогда как вся Япония наблюдает за моими усилиями у стен Порт-Артура, а я буду смотреть на вас... да! От активности ваших крейсеров зависит многое. Я понимаю, что иногда даже опытная обезьяна падает с дерева. Но задачи войны требуют от вас солидного успеха с международным резонансом, чтобы Владивосток оказался в такой же осаде, в какой я держу Порт-Артур.

Откланиваясь, Камимура обещал Того:

– Я не та обезьяна, которая падает с дерева...

На японских крейсерах матросы разучивали новую песню:

Как слаба эскадра русских,
Как ничтожны форты Порт-Артура...
Гордо режет прозрачные воды
Флот могучий – гордость Ниппона!
Под лучом восходящего солнца
Ледяная эскадра России растает.
На высотах седого Урала
Водрузим мы японское знамя!

Рожденная в департаменте печати военного министерства, эта песня не имела автора. Она являлась образцом коллективного творчества японских милитаристов. Из этого видно, что в Японии все было готово к войне заранее – даже песня! Не как у нас, грешных, которые в «табельные дни» уныло затягивали по приказу начальства: «Царствуй на страх врагам...»

Наступили «февральские репетиции» в Восточном институте, и директор Недошивин мимоходом спросил Панафидина:

– Надеюсь, теперь-то вы хорошо подготовились?

Пришлось краснеть. Покраснев, пришлось и соврать:

– Старался. Насколько возможно в моих условиях...

На экзамене засыпался не он, а пострадал рюриковский священник Алексей Конечников, который неудачно передал Панафидину шпаргалку. Профессор Шмидт учинил ему выговор:

– От вас не ожидал. Ну ладно – мичман, у него своя стезя. А вы-то... вы! В духовном чине иеромонаха, образец праведной жизни, а даже шпаргалку не сумели передать как следует. Я прощаю мичману его слабость в суффиксах, а вас прошу разъяснить: показателем какого падежа будет управляемый член «токоро» в сочетании «токоро-о-кэмбуцугао»? Отвечайте...

Панафидин в страхе господнем поспешил откланяться, оставив своего приятеля на съедение зверю-профессору, и он терпеливо дождался Конечникова в коридоре:

– Ну что там было с этим «токоро»?

– Нельзя же так! – обиделся священник. – Уж если вам суют шпаргалку, так умеете же принять ее как дар божий...

В воскресенье с коробкою шоколадных конфет «от Жоржа Бормана» (но проданных под вывескою «Кондитерская Унжакова» в доме № 35 по Светланской улице) мичман Панафидин снова навестил Алеутскую. Двери квартиры Парчевских открыла ему прислуга в чистень-

ком фартучке. В гостиной же мадам Парчевская раскладывала пасьянс, сообщив гостю, что ее Виечка вот-вот должна бы вернуться из сада Невельского:

– Вы знаете, сейчас среди молодежи пошла мода – крутить на коньках всякие пируэты. Причем порядочная девушка вынуждена позволить партнеру держать себя за талию... вот так! – Панафидину было наглядно показано, как следует держать девицу, чтобы она не треснулась затылком об лед. – Игорь Петрович, – продолжала хозяйка дома, – оказался превосходным партнером, и сегодня они снова катаются на катке...

Панафидин с огорчением отметил, что Игорь Житецкий если не сделает карьеру на морях, то скоро обретет неземное счастье в этом состоятельном доме. Но тут, покрыв даму пик валетом, дама заметила коробку с шоколадом:

– О, как это мило с вашей стороны, господин мичман! Я как раз обожаю шоколад «от Жоржа Бормана»...

Но конфета, проделавшая долгий путь вдоль трассы Великого сибирского пути, пока не достигла лавки Унжакова, обрела такую же несокрушимую твердость, как и крупповская броня, в результате чего сильно пострадал передний зуб госпожи Парчевской... Бедному мичману пришлось еще извиняться:

– Простите, что я, *volens-polens*, оказался невольным виновником этой чудовищной аварии...

От дальнейших неловких сочувствий его избавило появление с катка Вии Францевны – румяной с мороза, очаровательной.

– А-а, как я рада... Николай Сергеевич?

– Сергей Николаевич, – поправил ее Панафидин.

– Я все забываю, – капризно сказала девушка. – С этим папенькиным квартетом у нас бывает так много господ офицеров, что мне позволительно иногда и ошибаться.

Панафидин подумал, что в имени-отчестве Житецкого вряд ли она когда ошибалась. («Не везет! Да, не везет...»)

– С вашего соизволения, я вас покину, – сказал он.

– Ну куда же вы? – с пафосом воскликнула мадам Парчевская. – Вы как раз попали к обеду. Оставайтесь.

– Конечно... оставайтесь, – добавила Виечка.

Наверное, приглашение было лишь выражением общепринятой вежливости, но Панафидин по наивности принял его за чистую монету и, смущаясь, последовал к столу. Прислуга обогатила его обеденный прибор вилкой, которой и нанесла дополнительную сердечную рану, сказав с немалым значением:

– Вот вам... это любимая вилка Игора Петровича!

(«О боже, куда деваться от успехов Житецкого?..»)

– Наверное, – произнес Панафидин, обуреваемый ревностью, – наверное, этого мичмана Житецкого скоро передвинут куда-нибудь подальше... вместе с его Рейценштейном!

Фраза была опасной. Виечка не донесла до своего нежного ротика тартинку, а мадам Парчевская, вооруженная ножом, временно отложила хирургическое вскрытие горячей кулебяки:

– Вместе с адмиралом? Почему вы так думаете?

Над кулебякой нависало облако пара, словно туман над Сангарским проливом, чреватый опасностями. Но Панафидин уже отчаялся в надеждах на счастье и сказал честно:

– Я держусь за флот, а мичман Житецкий держится за своего начальника. Флот России бессмертен, как и сама Россия, а вот о бессмертии начальства нам еще стоит подумать...

«Хорошо ли я делаю?» – успел сообразить мичман, но тут послышался странный завывающий звук, словно в небе какой-то ангел заработал пневматическим сверлом. Затем раздался тупой удар, дом на Алеутской дрогнул, а в кабинете доктора Парчевского само по себе спедалировало гинекологическое кресло. Брови мадам Парчевской вскинулись в удивлении.

– Кес-кесе? – сказала она, и тут же, как опытный анатом, вскрыла ножом теплую брюшину ароматной кулебяки.

Вия, как и ее мать, тоже ничего не поняла в происхождении этого шума над городом, и шутиливо рассказывала Панафидину, что вопросительное «кес-кесе» памятно ей с гимназии:

– Что такое «кес-кесе»? Кошка кошку укусе. Кошка лапкой потрясе. Вот что значит «кес-кесе»... Смешно, не правда ли?

– Очень, – ответил Панафидин, весь в напряжении.

Снова этот сверлящий гул и... в з р ы в!

– Не понимаю, куда смотрит начальство? – возмутилась мадам Парчевская. – Объясните хоть вы, что происходит?

– Крейсера! Японские крейсера... здесь, в городе!

Схватив в охапку шинель, он кинулся бежать в гавань.

Этот день выдался ясным, солнечным, высокие сугробы подтаяли, с крыш нависали серые глыбы снега, готовые рухнуть на панели, тротуары заполняла публика, приодетая ради воскресенья; все лавки, шалманы и закусовые были переполнены людьми, которые не могли знать, что с океана уже подкралась угроза их городу, их жилищам, их жизням... С острова Аскольд японские корабли заметили еще утром, но определить их классификацию мешала дистанция. Оборона города не была оформлена до конца: форты Линевица и Суворова могли огрызнуться на противника лишь редкими пушками и пулеметами. К полудню четко выявился враждебный кильватер, во главе которого – под флагом Камимуры – двигался «Идзумо», за флагманом равнялись шесть броненосных крейсеров: «Адзумо», «Иосино», «Асамо», «Иватэ», «Касуги», «Яшимо». Огонь был открыт с двух бортов – японцы холостыми залпами сначала прогрели свои орудия.

С рейдовых «бочек» телефонные провода струились до помещения штаба бригады, но Рейценштейна на месте не было, на запросы с крейсеров отвечал Житецкий:

– Все понимаю, все доложу, все исполню...

Командиры крейсеров облаивали Рейценштейна:

– Наверняка при пожаре в публичном доме во время наводнения порядка все-таки больше, чем у нас на бригаде...

Рейценштейн получил информацию с моря лишь около 10 часов. Он велел поднимать давление в котлах крейсеров, вокруг которых «Надежный» уже с треском разрушал льдины. Услышав гулы с моря, гуляющая публика кинулась к берегу, а жители городских окраин спешили подняться в горы, чтобы с их вершин видеть подробности. Камимура вел крейсера Уссурийским заливом, оптика его дальномеров отражала сияние заснеженных гор – без признаков обороны. Японцы лупили по сопкам наугад, желая вызвать ответный огонь, чтобы засечь координаты батарей, чтобы разгадать схему обороны Владивостока. Но русские молчали (еще и потому, что многие батареи находились в проекте, а пушки других хранились в арсеналах порта).

В половине второго Камимура перенацелил огонь на город. Снаряды летели вдоль Светланской – в пустоши Гнилого Угла, терзали долину реки Объяснений, множество снарядов даже не взрывалось. Когда Панафидин, запыхавшийся, появился на «Богатыре», вся бригада крейсеров уже жила одним общим порывом: идти в бой, прямо здесь погибать на глазах жителей...

– В чем дело? Почему не выходим?

– «Рюрик» держит: у него котлы, как в городской бане, два часа не могут набрать нужного давления...

Но «Рюрик» был готов сражаться даже с малым запасом пара. А приказа о выходе в бой не поступало. Александр Федорович Стемман то натягивал, то сбрасывал с рук перчатки:

– Николай Карлыч ведет себя странно. Наверняка в этот момент силы небесные пачкают ему служебный формуляр отметками о непригодности... я еще мягко выражаюсь!

– Почему стоим? – орали от пушек матросы. – Тоже мне начальнички, называется. Хотим боя! Ведите...

Обстрел города продолжался. Один из снарядов врезался в дом полковника Жукова, пробил спальню его жены, развалил горячую печку, опрокинул всю мебель и, проткнув стенку, взорвал денежную кассу, выбросив на улицу часового, стоявшего возле знамени. Вопреки всем уставам (даже в нарушение их) знамя 30-го стрелкового полка вынесла из руин и пламени Мария Константиновна Жукова – супруга полковника.

Камимура явился с эскадрой ради устрашения Владивостока, но горожане на все перелеты и недолеты отвечали смехом и шутками, тут же раскупая у мальчишек еще неостывшие осколки – в качестве сувениров. (Так же, как всегда, ходили пешеходы по улицам, ездили извозчики.) Только два японских снаряда оказались роковыми. При обстреле Гнилого Угла одна граната врезалась в здание морского госпиталя, перебив пять больных матросов на кроватях. Другой снаряд с «Идзумо» рассек пополам беременную женщину Арину Кондакову. Всего же японцами было выпущено по Владивостоку двести снарядов.

Офицеры ходили по мостикам крейсеров, ругаясь:

– Понос у нашего Николая Карлыча... великолепный понос! На кой черт тогда адмиральские орлы цеплять на погоны, если пора в клинику Бехтерева – подлечить свои нервы...

45 минут обстрела закончились. Камимура уже отводил крейсера в море, когда Рейценштейн велел с «бочек» сниматься.

– Догоним... всыпем, – убежденно говорил он.

Но за островом Аскольд было уже пусто, и лишь далеко развевало из труб японской эскадры пласты перегретого дыма от сгоревших английских кардифов. Всем было стыдно, и все дружно обругивали Рейценштейна:

– Кому он хочет замазать глаза? Если говорить о погоне, то самый тихоходный «Адзумо» даст все двадцать узлов, а наш несчастный «Рюрик» едва вытянет восемнадцать... Стыдно перед жителями, которые так наивно и горячо надеялись на нас!

В 17.00 бригада крейсеров вернулась на рейд...

Комендант города названивал в штаб бригады, он сказал Рейценштейну, что у него теперь мало надежд на защиту обывателей от противника, а потому завтра же он переводит Владивосток на осадное положение.

– Предупреждаю: в своем докладе заместнику я не скрою от него горькой правды, что ваши крейсера были выведены в море лишь через час после обстрела города японцами...

Николай Карлович велел подавать в кабинет ужин, усадив Житецкого писать донесение. Игорь Петрович, владея пером, составил хвастливую фальшивку, и адмиралу он угодил:

– Пожалуй, все верно. Но хорошо бы усилить этот жуткий момент, когда мы гнались за Камимурой...

В новой редакции фраза о преследовании японцев дополнилась словами «я гнался за ним», и за эту героическую приписку, очевидно, следовало ожидать повышения по службе. Впрочем, адмирал Камимура тоже не был честен в своем рапорте, оправдывая свой отход закатом солнца. «Неприятель так и не вышел», – сообщал он Того (и был почти прав).

На «Богатыре» воцарилось нервное уныние:

– Макаров вот-вот появится в Порт-Артуре, и, надо полагать, Рейценштейну от него достанется...

Вечером Панафидин позвонил на Алеутскую:

– Это вы, Игорь Петрович? – спросила Виечка.

– Нет, это его противоположность. Простите, я сегодня так спешил, что впопыхах оставил у вас свою фуражку.

– Ну, заходите... – ответила Виечка.

Командующий флотом Тихого океана вице-адмирал Макаров прибыл в Порт-Артур утром 24 февраля – поездом. Флаг Старка еще колыхался над «Петропавловском», а Макаров поднял свой на крейсере «Аскольд». Не будем думать, что все как один радовались его прибытию, ибо некоторых в Порт-Артуре вполне устраивал девиз наместника: «Не рисковать!» Но Старк сдал эскадру – Макаров принял ее от Старка.

Старк признался, что он предвидел катастрофу внезапного нападения и заранее предлагал наместнику меры предосторожности. Он показал Макарову свой рапорт, на котором зеленым карандашом была начертана резолюция: «ПРЕЖДЕВРЕМЕННО».

– А теперь из меня сделали столб, возле которого любая собака желает задрать ногу. Наместнику же очень удобно не опровергать клеветы, дабы сберечь чистоту своего мундира...

Макаров в первую очередь старался изгнать с эскадры «дух казармы», чтобы моряки ощутили себя мореходами, а не жильцами кораблей, отданных им для квартирования. Так же не терпел он вмешательства генералов в дела эскадры:

– Кавалерии флотом не командовать! Армию нельзя и близко подпускать к нашим делам. Если это, не дай бог, когда-либо случится, эскадра погибнет... Но и среди нас, людей флота, собралось немало таких, кто не знает Дальнего Востока и его условий, кто приехал сюда отбывать цензовые сроки ради повышения в чинах. Таких будем удалять... беспощадно!

Очевидец писал, что матросы, глядя на флаг Макарова, даже крестились. Требовалось расшевелить флагманов, чтобы командиры кораблей ощутили великое чувство самостоятельности.

– Я, – выступил перед ними Макаров, – требую от вас полной откровенности, а полного согласия со мною... не потерплю. Я прежде всего человек, потому могу ошибаться. Раз и навсегда условимся: лучше уж между нами разразится хороший скандал, только бы не ваше чиновничье согласие с моей персоной. Война – дело живое, она равнодушия и казенщины не терпит.

Степан Осипович уже знал о делах на бригаде крейсеров Владивостока, знал, что Камимура ушел от города безнаказанно, знал, что Рейценштейна в море и палкой не выгнать. Он, командующий флотом, принял важное решение...

– Если Иессен прибыл, – сказал он флаг-офицеру, – пусть явится ко мне сразу. Я должен его видеть.

На вызов Макарова явился контр-адмирал Карл Петрович Иессен¹, бывший командир крейсера «Громобой», выходец из семьи флотского врача. Макаров сказал, что назначает его командовать бригадою владивостокских крейсеров:

– Рейценштейн начал страдать водобоязнью, будто укушенный бешеной собакой. А водобоязнь адмиралов хорошо излечивается службою на берегу. Два его выхода на позиции оказались бесполезны, а во время обстрела Владивостока он попросту... ослабел! Надеюсь, подробности вам известны.

(У Макарова была готова для Иессена четкая инструкция, которую я, да простит мне читатель, привожу в диалоге.)

– Что там творится во Владивостоке? Город наводнен агентурой, население устраивает крейсерам почетные проводы, форты салютуют, а оркестры играют веселые марши...

¹ Не следует путать К. П. Иессена, командовавшего во Владивостоке, и Н. О. Эссена, командовавшего в Порт-Артуре.

В инструкции Иессену указывалось: «Имейте в виду, что неприятель попирает всякие международные законы, а потому будьте осторожны и недоверчивы... Примите все меры, чтобы о дне вашего выхода из Владивостока ни прямо, ни косвенно не было сообщено никому и, кроме шифрованной телеграммы на мое имя, никуда не было посылаемо известий».

– Заведите наконец придирчивых цензоров на телеграфе, чтобы вникали в каждую из телеграмм, идущих в Корею.

– Но как сделать, Степан Осипович, чтобы жены матросов и офицеров не могли устраивать проводов своим мужьям?

– Приучите все население Владивостока к тому, что ваши крейсера часто и неожиданно для всех покидают рейд ради боевых учений. Погода и ваш выход на серьезную операцию будет воспринят жителями как обычная тренировка. Желательно даже разболтать в городе, что рейд покидаете ненадолго. Не допускайте проводов, словно на вокзале... Гавань не вокзал, а отход крейсеров – это не отбытие пассажирского поезда.

Макаров внушал Иессену: «Неприятель чрезвычайно настойчив и весьма отважен, разбить его можно лишь умением и хладнокровием... Поговорите с командирами (крейсеров) о том, как вы будете действовать в случае открытой схватки».

– Избегать ли мне боя или самому влезать в схватку?

– Такую схватку, – поучал Макаров, – не ставьте для себя главной задачей, но считайте ее возможной. Я никак не стесняю вашу инициативу, милейший Карл Петрович, но любые ваши действия во вред неприятелю всегда будут уместны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.